

АНДРЕЙ
БИТОВ



УЛЕТАЮЩИЙ
МОНАХОВ

А. БИТОВ
УЛЕТАЮЩИЙ
МОЧАХОВ



ББК 84Р7
Б 66

В книге использованы рисунки
РЕВАЗА ГАБРИАДЗЕ

Б $\frac{4702010201-137}{078(02) -90}$ 095—90

© Битов А. Г.,
1990 г.

ISBN 5-235-00944-4

А. БИТОВ
УЛЕТАЮЩИЙ
МОНАХОВ



РОМАН-ПУНКТИР

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1990

ДВЕРЬ

6

САД

13

ОБРАЗ

(Третий рассказ)

52

ЛЕС

70

ВКУС

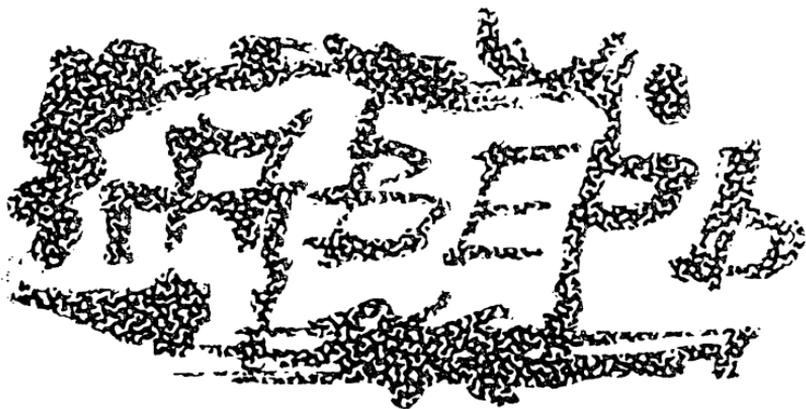
123

ЛЕСТНИЦА

(Шестой рассказ)

148

*Хочет ли человек жить
и любит ли
долгоденствие,
чтобы видеть благо?..
Псалтырь 34:13*



Мальчик промерз под аркой. Уже полчаса прошло. Конечно, раз она так опоздала, то она сюда и не зайдет. Она сразу пройдет в ту парадную. А может, она уже вошла и поднялась на третий этаж, ей открыли дверь, и она вошла в квартиру... Вдруг она опоздала и решила, что он не станет ждать ее так долго на таком морозе, и она уже там?.. А как же он?.. Но, может, она подумала, что он сам зайдет туда. И сейчас ждет его там, на третьем этаже... Но как же ему туда зайти, если он был там всего один раз, и тогда все эти мужики посмеивались над ним... И если, может быть, она еще и вовсе не пришла туда.

Мальчик вышел из-под арки, дошел до парадной, озираясь по сторонам, не идет ли она — навстречу, сзади или по другой стороне улицы. Вошел в парадную. Теперь я ее не пропущу...

Тут было теплее. Главное, не дуло. Он растер себе нос, и щеки, и лоб. Лицо загорелось. Вдруг подумалось, что у него теперь очень красное лицо и что сейчас войдет она. Мальчик стыдился своего румянца и своих лет. И от мысли, что вот покраснелся и совсем мальчишка, покраснел еще больше.

Но она не приходила. Сначала ему казалось, что дверь откроется сию секунду. Он, вздрогнув, смотрел на дверь. Но это либо просто казалось, либо входил кто-нибудь другой. Не она.

Тогда он подумал, что, может, она все-таки прошла мимо парадной и ждет под аркой, пока он тут греется. Выбежал, добежал до арки — там никого не было. Тогда он подумал, что в этот момент она входит в парадную. И вот они разминулись... Он поспешил обратно. В парадной никого не было. Мальчик стоял в парадной, за стеклянной дверью, и смотрел на улицу на тот случай, если она пройдет мимо, к арке. Но в какой-то момент, когда он отвернулся посмотреть, кто спускается по лестнице, ему показалось, что она прошла мимо двери, только он не заметил. Спускался толстый старик. А промелькнула за стеклянной дверью, конечно же, она! Мальчик еще раз сбегал к арке. Там никого не было. И он вернулся.

Нельзя быть таким ребенком, думал мальчик. Надо все обдумать, а не метаться и не сходить с ума. Прошло сорок минут, и, конечно, она уже не подойдет к арке. Тогда одно из двух: либо она уже пришла и сидит там, в комнате на третьем этаже, пока я ношусь тут внизу, либо она еще не пришла, и тогда надо ждать ее тут, на лестнице. И необязательно у дверей, потому

что она все равно не пойдет к арке, раз так опоздала. Можно подняться на третий этаж и погреться у батареи. Так.

Мальчик решительно поднялся на третий этаж. Погрел руки на батарее. Посмотрелся в оконное стекло. Снял шапку, причесался и снова надел. Поправил шарф. Лицо уже не горело. Он присел на батарею, не спеша достал сигарету, закурил. Голова закружилась, все поплыло немного. Мальчик совсем недавно начал курить. Было приятно — словно укачивало. Он разглядывал дым, который пускал то изо рта, то из ноздрей, то пытался сделать кольцо...

Внизу хлопнула входная дверь. Мальчик вздрогнул. Еще раз поправил шарф. Очень некстати снова загорелось лицо. И застучало сердце. Уже по шагам он понял, что это не она. Это была бабка. Она прошла мимо как-то боком, смерив его с ног до головы. Так и поднималась, не отрывая взгляда от мальчика и по мере подъема разворачиваясь вокруг собственной оси. К двери она подошла уже совсем задом. Эта дверь была соседней с той, за которой следил мальчик. Озираясь, старуха чуть приоткрыла дверь и с трудом протискалась в такую узкую щель, и поспешно прихлопнула за собой, а потом загремела крюками и цепочками.

Мальчик посмотрел на часы: двадцать минут десятого. Уже час двадцать он ждет. Уже поздно. Ему надо бы повидать ее и идти домой. Потому что мама не знает, где он пропадает так долго, выйдя за циркулем к приятелю напротив. Правда, она косилась на новую рубашку и ботинки и говорила, что он ее в гроб вгонит. Впрочем, она уже давно позвонила к приятелю, и сейчас они разговаривают, две матери. Мальчик спустился вниз, позвонил домой, а следом — приятелю: так и есть, короткие гудки и там и там. Мальчик обрадовался, что разговор не состоялся. Ведь он скоро вернется, и совсем не стоит говорить об этом по телефону...

А времени прошло два часа. И мальчик подумал: должно быть, она уже там и они как-то разминулись. Просто необходимо узнать, там ли она. Может, он зря ждет?

Он поднимался, все более замедляя шаги. Но вот и дверь. Снова поправил шарф и шапку. Потянулся к звонку. Поколебался: вспомнил тот красивый парень, который похлопывал его по щеке и смеялся небрежным смешком. И она смеялась тогда тоже. В то же время мальчик думал, что позвонить все-таки надо. Надо все уяснить наконец. И когда он все-таки нажал кнопку, то почувствовал себя уверенней и смелее.

Он услышал, как за дверью открылась другая дверь, откуда вырвался смутный шум, как шаги подошли к двери, как щелкнул замок...

И вот перед ним та самая подруга.

Шум уже был явственным. Шум очень определенного свойства, так что мальчик слышал не только голоса и музыку, но и табачный дым, и бутылки на столе.

— А-а, это ты, мальчик...— сказала подруга, поднимая брови.

— Я,— сказал мальчик.

— А она еще не приходила,— сказала подруга.

Он смотрел на подругу в упор, стараясь поймать взгляд, чтобы понять, лжет та или нет. Потому что не слышал ли он явственно среди других ее голос... И сейчас слышит.

Эта подруга походила на большую красивую рыбу. И сейчас, когда мальчик точно различал там, в шуме, один голос из многих, подруга не нравилась ему еще больше и еще больше

походила на рыбу, только уже некрасивую. Этой рыбе очень трудно посмотреть в глаза — большие, серые, навывкате,— как ни взгляни, всегда попадаешь между, куда-нибудь в переносицу. Эта рыба все время поглаживает свои обтянутые бедра, словно вытирая свои всегда сырые руки...

Рыба открывает рот, и рыба закрывает рот.

Потом, когда дверь закрыта, а рыба словно ушла в стену, он понял движение губ:

— Она, наверно, и не придет сегодня.

«Я же слышал ее голос,— думал мальчик,— там, среди других! Значит, она не хочет меня видеть. Она там, с ними, даже с ним...» С тем, который брал мальчика за подбородок. А он здесь, на лестнице... И она знает это. И сама сказала подруге, чтобы та прогнала мальчика...

— Гадина,— сказал мальчик.— Гадина,— сказал он вслух.— Гадина! — сказал он, спускаясь по лестнице.

А если действительно ее там нет, рассуждал он. Если мне, глупому ревнивцу, просто показалось, что это был ее голос... Она ведь не может так обмануть.

— Глупый ревнивец! — сказал мальчик.— Глупый ревнивец.

Это его как-то успокоило. А может, это подруга обманула и его и ее? Не сказала, что пришел мальчик.

— Дрянь, дрянь, дрянь! — сказал он.

Мальчик стоял внизу и никак не мог остановиться на чем-нибудь. Обвинить кого-нибудь из трех. Только обязательно одного. Чтобы стало ясно.

Надо позвонить по телефону. Мальчик боялся звонить ей часто по телефону. Она говорила, что у нее неприятности из-за телефона, чтобы мальчик просто так не звонил. Мальчик так просто и не звонит: надо же что-то выяснить. Может, она дома и не придет сюда... Тогда все сомнения ни к чему, и ему надо спешить домой.

Он опустил монету, набрал номер. Сердце колотилось. Грубый голос. Нет дома. Да, давно. Да, неизвестно.

В любом случае, думал мальчик, надо еще подождать. Может, она в дороге и сейчас сюда придет.

Мальчик поднялся к своей батарее и снова закурил.

Он казался себе очень спокойным и взрослым. Поджимал губы, делал твердое лицо, рассматривал себя в оконном стекле, думал о себе в третьем лице разные вещи, смотрел, как он пускает дым и стряхивает пепел.

А она что-то не шла.

Мальчик заволновался. Ведь ему надо было еще купить масло: мама велела. Да и мама... Ждет. Скандал. Скоро магазины закроются.

Как это глупо... Надо было купить масло по дороге из дому. Даже если бы опоздал к арке, то ведь ее все равно не было. Глупости, откуда я знал... А сейчас я ее пропущу.

А она не идет.

Но, может, он не ошибся, когда слышал ее голос, и она действительно сейчас там и действительно обманула его...

Да нельзя же так, сказал себе мальчик. Ведь если я жду уже два часа, то выскочить на минутку в магазин напротив, купить масла и вернуться,— это капля в море... Он ничего не пропустит. По теории вероятностей. И нельзя думать, что она придет как раз в ту секунду, когда мальчик отлучится. Это уже бред. Надо же быть мужчиной! В конце концов.

Так себя настроив, он решительно вышел на улицу, бегом

добежал до магазина. Проскользнул мимо тетки, собиравшейся закрыть дверь.

С маслом все в порядке. Он перебежал улицу, ворвался в парадную, помчался по лестнице... Может, она все-таки зашла именно в эту минуту, может, он нагонит ее сейчас. Добежал до самой площадки... Никого.

Сел на свою батарею.

Конечно, думал мальчик, такой случайности, чтобы она прошла сюда как раз, когда я отлучился за маслом, — такой случайности быть не может. Тем более я обернулся чудо как быстро.

Значит, она уже там и обманула его. Приходить к подруге сейчас нет никакого смысла. Но, может, она пошла по какому-нибудь делу и не могла предупредить мальчика. Может, она даже не уходила из дому, а ему просто соврали, что ее нет.

Надо идти домой. Дома скандал. Да, если она ушла по делу или если ему соврали, тогда надо скорее бежать домой.

Ну а если он не ошибся — и это ее голос... Там, в комнате, где дым и бутылки? Тогда как же он убедится, узнает правду? Тогда надо дожидаться, когда она выйдет. Если она там, то не исчезнет же она... Если она выйдет — все станет ясно.

Внизу кто-то залязгал крюками. Но дверь не хлопнула. Никто не вышел. Больше там никого не ждут... Странно, вдруг по всей лестнице забрякали крюками и задвижками, запирая двери на ночь. Почти одновременно загалдели железки по этажам, и этот галдеж хорошо слышен по всей лестнице.

Мальчик вспоминает, что мама тоже запирается на ночь на щеколду и тогда уже не попадешь домой с ключом. Тоже, думает он, никто их не собирается грабить... Он вздрагивает от каждого нового лязга. Вздрагивает раньше, чем понимает, что это не та дверь, за которой он следит, а какая-то другая.

Кто-то подошел к его двери. Мальчик слышал шаги.

Вот сейчас... раскроется дверь — и выйдет она...

Так же, только громче, загалдели ключья.

Значит, они все останутся там на ночь. Неужели и она...

Мальчику захотелось броситься на дверь, ворваться — увидеть.

Шаги отошли от запертой на ночь двери.

...Вот он врывается — она там — он смотрит на нее взглядом и говорит ей резкие, гордые слова, полные жестокой правды. Она рыдает, она просит прощения. Ползет на коленях, обнимает ему ноги. Но он стоит, бледный, красивый, и ничто уже не может разжалобить его. Ничему он уже не поверит. И он уходит. А она рыдает, плачет...

Плачет... Мальчик видел один раз, как она плакала. Тогда она тоже опоздала и пришла в слезах. Говорила, что ее обидел брат и только один он у нее, мальчик... Мальчик вспомнил, и ему стало очень жалко ее. Засвербило в носу.

Он отогнал это и остановился на том, что только что вообразил себе. Усмехнулся: детство, глупости... Ведь если и ворвешься... а вдруг ее там нет. Что он скажет тогда этим удивленным людям? Куда денется? Мальчик покраснел, так остро ему представился стыд подобной минуты...

Да и как ворвешься?

Да... но как-то надо решать. Что-то надо делать... Звонить уже неудобно, поздно. Но как узнать? Он снова спустился вниз, к телефону. Ладно, он сейчас позвонит. Если подойдет она — все в порядке, если нет... ну, тогда он повесит трубку. Подошел тот же грубый голос. Мальчик бросил трубку. И сердце стучало в какую-то пустоту, словно сорвавшись.

На батарее тепло. Скандал дома уже не станет больше. Даже меньше. Маму жалко... Последнее мелькает в голове, как маленький серый и пугливый зверек, и сразу исчезает. Мальчику тепло. По телу бегают сладкие мурашки. Все гудит немножко. Не шевельнуться: неохота. Прикроешь глаза — запрыгает в черноте точка, светлая, зеленая — след лестничной лампы...

Вот он лежит больной и умирает. Бледный, худой. Она находит его наконец. Приходит к нему. Плачет. «Не плачь, я всегда любил тебя. Ты ни в чем не виновата». Она плачет, умоляет: все будет иначе. «Нет, для меня уже ничего не будет...»

...Прошли годы. Вот он приходит к ней. Его мужественное лицо несет следы пережитых трудностей, приключений. Густые кудри, падающие на лоб, не могут скрыть глубокий шрам. Седые кудри. Такой молодой и уже седой... «Поздно, все поздно», — говорит он. И уходит. Она рыдает. А он идет по залам, залам, открывает двери, двери...

Когда мальчик проснулся, то почувствовал озноб. Было холодно. И не холодно, а зябко. Мальчик несколько раз резко отвел руки в стороны, попрыгал — разогнал кровь.

Как-то все глупо получилось, думал он. Надо было предупредить маму. Или даже лучше вообще не выходить вечером, а прийти сюда вот сейчас: все равно ее не было и все это время он проторчал тут зря. Прийти сейчас и начать ее ждать. А маме сказать... маме что-нибудь сказать такое. Глупости. Надо было идти домой сразу. А сейчас?.. Сейчас ночь, два часа, третий. И надо узнать.

Мальчик сидел на батарее, вбирал голову в плечи, дышал себе под свитер.

И уже ни о чем не думал.

Три часа ночи.

Четыре.

Тупо ждет мальчик. Задремывая иногда, просыпаясь в ознобе. Он уже все знает про эту лестницу: про трещину на стене, похожую на быка, и другую, похожую на Марию Степановну, про то, что Минька — жук и Валя — дура, и про эту дверь, его дверь, какие на ней звонки и как отстает в правом углу войлок...

Шаги. Голоса. Два голоса. Звякнула щеколда. Это его дверь.

Дверь приоткрылась.

Она!

Мальчик вскочил с батареи. Она взглянула, отпрянула назад. Захлопнулась дверь. Все это как-то слишком быстро: мелькнуло и исчезло. Мальчик недоумевал. Сердце колотилось от неожиданности и от того, что он так поспешно вскочил, а перед тем долго сидел неподвижно. За дверью голоса. Мальчик силится разобрать. И ему слышится, что там голоса, мужской и женский, ее голос. Мальчик уже уверен, что этот шум, эти два шума — это их голоса. Как они явно слышны... Как громко! Слова ширятся, растут, сползают на мальчика...

Замок снова щелкает, и дверь открывается.

Парень, тот самый парень, выходит, пятясь, что-то говоря кому-то. Ей! Мальчик стоит у батареи и смотрит. Парень развернулся кругом. Пошел. Дверь за ним закрылась. Мальчику показалось, что опять мелькнула ее фигура. Щелкнула задвижка. Парень спустился по лестнице. Ближе к мальчику, ближе. Поравнялся. Взглянул на мальчика. Что было в этом взгляде! Мальчик похолодел: чего только в нем не было... Парень миновал, ниже, ниже. Мальчик смотрел ему вслед. Когда парень

повернул на следующий марш, то взглянул вверх на мальчика. Любопытство во взгляде.

Шаги парня таяли в глубине.

Мальчик снова уселся на батарею. Закусил губу. Теперь-то уж он дождетсся. Теперь он знает, что она — там. Он дождетсся и скажет ей все.

— Я убью ее. Убью! Убью! — повторял мальчик.

В полшестого хлопнула первая дверь. Кто-то пронесся по лестнице, застегиваясь на ходу. Потом двери хлопали все чаще. Выше и ниже, чем стоял мальчик. Двери хлопали по нескольку раз.

Сначала спешили рабочие. Они проходили мимо мальчика деловито, не меняясь в лице. И он был им благодарен.

Потом служачие. Эти плыли, с сумками — женщины, с портфелями — мужчины. Эти пялились, а некоторые оборачивались. Некоторых мальчик узнавал: вчера вечером они поднимались и разглядывали его с любопытством. Теперь их взгляды сочились любопытством, изнывали вопросом...

«Я убью ее!»

Мальчик съеживался. Мучительно делал спокойное и равнодушное лицо. Но стоял мужественно, закусив губу.

Двери хлопали во времени по определенным законам. Волнами. По рубежам получасовым и часовым. Волны нарастали и потом сходили на нет на последних мчащихся, жующих на ходу людях. Потом наступала передышка. Мальчик расслаблялся и сразу чувствовал себя уставшим без меры.

Два раза хлопнула его дверь. Но это были просто жильцы, не она. Мальчик боялся, что они узнают его. В первый раз он отвернулся к окну и пробовал безразлично насвистывать. Во второй раз сделал вид, что спускается вниз, как будто из другой квартиры.

Без десяти девять схлынула последняя волна.

В полдесятого, с сумками, бутылками, бидонами, стали спускаться домохозяйки. Но мальчик уже устал сжиматься при каждом прохожем. И стал действительно равнодушен к ним.

«Когда же она наконец выйдет?» — тупо повторял он про себя. Уже не так остро и мучительно ждал он. Просто — скорее бы кончилось. Но уйти он уже не мог.

Волна домохозяек тоже схлынула.

Он подумал, что, если еще простоять часа два, начнут подниматься вверх.

И совсем уже неожиданно заговорила его дверь.

Она вышла.

Спокойная, красивая... Какая красивая!

Начала спускаться. Увидела мальчика. Узнала. Улыбнулась. Как хорошо она улыбнулась! Но нет, его теперь не обманешь...

— Ах, это ты, мой мальчик! — сказала она. — Милый, так ты все время ждал меня?

— Да, — сказал мальчик. Голос его дрожал, и он глотал спазмы. — Да. Ты была там всю ночь. Я ждал тебя под аркой — ты не пришла. Потом, когда звонил сюда, ты велела сказать, что тебя там нет. Ты знала, что я здесь... А ночью, в четыре часа, ты открыла дверь, увидела меня и спряталась. А вышел тот парень. Я знаю все!.. — мальчик сорвался.

— Хороший мой, — сказала она ласково и тихо, — все было не так. Не так, как ты говоришь. Я не смогла прийти вовремя к арке: так получилось, и я не могла иначе. Я не знала, как тебя предупредить об этом. Я пришла сюда много позже. Когда

ты меня спрашивал, я еще не пришла сюда, меня не было. А потом, когда я поднималась по лестнице, не было тебя. Я думала, ты не дождался.

— Я все время был на лестнице!

— Нет, милый, не все время! Нет, хороший мой.

— Не зови меня так. Ты там пробыла всю ночь. С этим парнем...

— Глупый... Я должна бы на тебя рассердиться. Глупый. Просто было поздно, и я осталась ночевать у подруги, понимаешь? А парень этот — ее брат. Мы учились вместе. Он уехал этой ночью. Далеко.

— Нет,— сказал мальчик.

— Милый, хороший, славный... Все было так, как я говорю. Ну чего же мы стоим тут? Пошли. Ты что, так тут всю ночь и просидел? Что, наверно, у тебя дома творится!..

— Чепуха,— сказал мальчик.

Она засмеялась.

Они вышли.

— Иди,— сказала она,— иди, мой мальчик. Завтра.

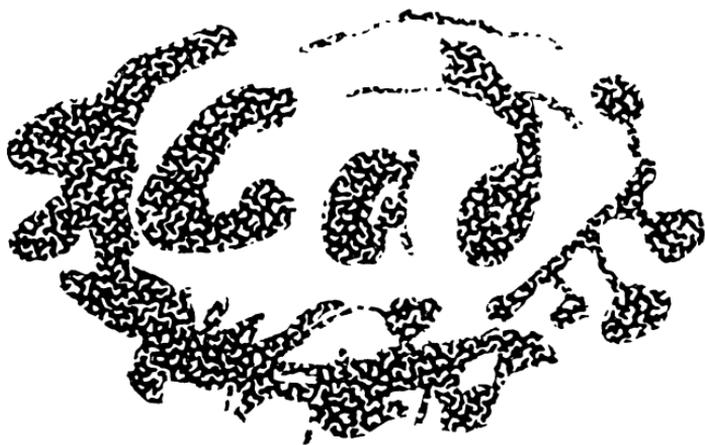
Мальчик шел домой. Тут было недалеко. Серый, теплый, туманный день. Все было каким-то неверным от тумана. И дома, и машины, и люди. Все вдруг возникало и вдруг исчезало. Легкое, невесомое. Словно приснившееся.

И само тело было тоже легкое, невесомое. И мысли.

Приятно гудело внутри. Где-то там притаился сон.

Так, шагал мальчик, так. Так оно и было, как она говорит. А я свинья. Я перед всеми виноват. И дома. И перед ней. Свинья. Все именно так и было.





ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ

Это было неизвестно, когда она позвонит. Но позвонить она собиралась. Обещала. Она должна была позвонить, и Алексей все шатался по квартире: словно бы листал газеты в прихожей и словно бы шел за ножом в кухню по коридору. Когда звонил телефон, Алексей подскакивал и снимал трубку, но звонила не она, не Ася. Дядьку, тетку, бабу — кого только не зовут к телефону! — но все не его. Мама тоже ходит по коридору и не разговаривает: что-то затаила. Хуже нет, когда у нее вот такое собранное лицо. Когда смотрит мимо, словно его, сына ее Алексея, и нет вовсе. Алексей устал гадать и обращать на это внимание: в последнее время всегда именно такое обращается к нему мамино лицо. И конечно же, подозрительно ей, что толчется он тут у телефона. Тогда, если мама появляется в коридоре, Алексей подходит, снимает трубку — узнает время. В следующий раз набирает неопределенный номер, причем одну цифру недобирает. «Витю можно?» — говорит. Витя Кошеницын — хороший, маме нравилась бы такая дружба: сын сослуживицы — все на виду — и учится хорошо. Алексей выжидает некоторое время, какое нужно, чтобы позвать человека к телефону, а потом начинает говорить о каком-то соленоиде, для смеха путая его с синусоидой, и городит такое, что ему даже легче становится. Иногда замолчит, словно слушая того, на другом конце, или так себе, хмыкнет неопределенно между молчаниями, или междометие вставит. А сам за это время нечто придумает да и скажет: «Конечно, потенциальная сила константы блока при пересечении магнитонидных искривлений системы равна гидравлической энергии питания электрода, альфа-омега-пси. Именно этого я не понимал», — повесит трубку. Маме нравились бы такие разговоры. Но всего этого на самом деле не было. Одно лишь представление, мечта...

И тут, конечно же, судьба: вдруг он забыл обо всем — о чем же таком он думал глупом-глупом? — и когда, обмирая, бросился на звонок, — мама уже держала трубку: «Алексей, это тебя», — и по поджатым губам, по особенно бесстрастному ее голосу и взгляду совершенно любому ясно, что на этот раз звонит Ася: мама узнала ее голос. Тут уж ничего не остается — лишь бы не покраснеть, подойти как можно спокойней, безразличней. Впрочем, не к чему и делать хорошую мину: ведь ясно же, недаром он толкся у телефона, все всё знают и по-

нимают — плохая игра, хорошая мина... Алексей берет трубку. «Да. Здравствуй...» Тут можно было бы и сказать: «Ася». Раз уж проворонил и тебя рассекретили. Если бы подошел сам или хотя бы кто другой, кроме мамы, можно было бы говорить во втором лице настоящего времени, что и не поймешь, с кем ты говоришь. Но ведь и это спасет мало: слишком много получается мычания, чтобы мама не догадалась. Мама очень в этих вещах понимает. Непонятно даже как.

— Это мама подходила? — До чего же прекрасный голос!

— Да...

— А как ты понял, что это я?

— По... лицу.

— Маминому?

— Да.

Смеется, подумать только!

— Так ведь говорила с ней не я!

Что-то сразу сжимается в Алексее.

— Кто же? — говорит он и сам удивляется, как падает у него голос.

— Муж.

— А этому типу чего от тебя надо...— слова трепещут, тянутся и рвутся: словно одно — как камень, а другое — жидкое.

— Да ну что ты, Алеша, что ты! — ласково говорит она.— Ну ты же знаешь...

— Случайно встретила?..— говорит Алексей ядовито и уже не помнит, что нельзя говорить в прошедшем времени: выдает с головой — ла, ала, яла, ила. Не понимает, что тем более выдавать себя не к чему, что вызывал его мужской голос, а, выходит, разговаривает он с женским, слишком явная ложь. Такого в доме не любят.

— Ну, Алеша, к чему такой тон! — говорит Ася, и голос у нее такой, что еще не рассердилась, но может рассердиться, и какой он еще мальчик, Алеша.— Ты же знаешь, я тебе говорила, что должна была с ним встретиться...

Ну, положим, она этого ему никогда не говорила, но Алексей вдруг успокаивается. И тогда становится очевидно, что какая же тут ревность, раз он ее слышит, что и сказал он эти две фразы: «А этому типу чего от тебя надо...» и «Случайно встретила?..» — может, только потому, что разволновался от ее голоса, и ни по чему другому. Но этого по телефону не объяснишь. Да и объяснять не надо. Да и не совсем так это. Да и не так осознает все сам Алексей. И выходит, мамино лицо было вытянутым не потому, что она узнала Асю,— так просто, как всегда...

И тут уже ясно, о чем дальше разговор — о встрече. Вот если он еще немного потопчется в разговоре и не спросит — спросит она. А если не выдержит и спросит он — она, пожалуй, скажет, что сегодня не может, занята. И кто ее знает, как она там занята. И он говорит:

— Ну так я приду.

— Нет, Алеша, я сегодня занята.— Так он и знал!

— Чем же это? — опять слова то жидкие, то твердые.

— Господи, Алеша... Ну, стиркой. Новый год же...

— Так я тебе не буду мешать — просто посижу.

— Не надо, Алеша. И дома сегодня все будут.

— Я все-таки приду.

— И твоя мама...

И теперь уже все было ясно. Он, конечно, придет. Хотя

у него дел по горло. Сессия. И мама будет коситься, что он опять уходит...

Но чем больше упирается Ася, тем вернее, что он придет.

Ася живет у Нины, своей подруги, — снимает угол за пятнадцать рублей. Нина — красивая девушка, но никто ее не любит. Нина живет у отца, Сергея Владимировича, необыкновенного старика, из «бывших». И все они, втроем, живут в одной большой комнате, чрезвычайно пустой и словно бы необжитой. Чтобы попасть к ним, надо подняться на четвертый этаж, верхний в старинном доме. Подниматься надо по широкой лестнице со ступенями, удобными, как в старинных домах. На каждом марше, у высокого окна, вделана капитальная скамейка для отдыха. И вот на четвертом, направо — дверь...

И всегда, когда Алексей нажимал звонок, все напрягалось в нем. Потому что тут — пауза, шорох, шаги за дверью — все могло произойти. Могло не оказаться Аси... И потом гадай, куда она делась. Сиди на удобной для того скамейке. Если откроет Ася, все хорошо. Но может открыть Нина, или Сергей Владимирович, или, если их нет, а ты все-таки позвонил еще раз, — соседи, самое худшее. У них такие лица, если они ему открывают, он чувствует себя виноватым, неведомо, правда, в чем, тем более, впрочем, виноватым и зависимым. И если откроет не Ася, то опять же: либо она дома, либо ее нет. И тоже могут открыть по-разному. Особенно Сергей Владимирович. Не просто открыть, тут множество оттенков: какое будет при этом лицо, промолчат или что скажут, и что скажут, пригласят или оставят на лестнице...

Дверь открыл Сергей Владимирович. Он стоял в дверях, словно не узнавая, длинный, величественный до жалкости, деревянный, стоял, ничего не менялось в его неподвижности, и молчал. Словно выжидал. Поэтому Алексей не мог сказать: «Здравствуйте, Сергей Владимирович», — а сказал, причем слишком отрывисто:

— Ася дома?

Старик еще словно бы долго неподвижно смотрел на Алексея, а потом, резко повернувшись, прикрыл дверь, удалился так же молча.

Алексей глупо стоял перед дверью.

И в это самое время, как назло, сзади подошла соседка — два звонка. Она встала за спиной, подышала. Алексей, вздрогнув, обернулся, и тогда она, ласково улыгнувшись, сказала:

— Вы уже звонили?

— Да, — твердо ответил Алексей и отошел от двери.

— Ах, она даже открыта!.. — распухшая сумка в одной руке, газета и кошелек — в другой, она растворяла дверь, проходила вперед сумкой, боком, и смотрела с ласковым любопытством. Совсем уж пройдя и прикрывая за собою дверь — на свету остался лишь один ее толстый глаз, — сказала:

— Не закрывать?..

— Нет, — сказал Алексей срывающимся от злости голосом.

И надо же было ей подняться именно в эту минуту!

Не успели еще оттоптаться в прихожей ее шаги, дверь отворилась — Ася, ситцевый халатик. Руки у нее были мокрые, лицо злое. Видно, кроме старика, сказавшего ей что-то, кроме стирки, вот еще и столкнулась с соседкой — два звонка.

— Я же говорила, не приходи!

Больше ничего Алексею не надо — стоит в дверях живая

Ася, ситцевый халатик, плечи остро под халатиком, руки мокрые, шлепанцы огромные, ее голос, ее глаза и волосы. И это ему не кажется — на самом деле...

Ася смотрит на него, теплеет.

— Там война, понимаешь? Пропали у Сергея Владимировича штаны...— Она уже смеется.— Полчаса подождешь?

Господи, полчаса... Час! Два!

Сад. Уголок его. Скамейка между сараем и садом.

О н а. Но так больше нельзя. Зима, понимаешь?.. А я хочу, чтобы было тепло. Чтобы я могла куда-то прийти. Это обязательно. И не все же обедать на деньги, что выдает тебе мама на завтрак? И ждать тебя по утрам, когда наконец я одна: придешь ты или не придешь? Ты-то, конечно, придешь... И целоваться вот здесь. И на лестнице тоже целоваться... Холодно ведь. Это тебе тепло. А мне холодно...

О н. Не надо так... И ты не права. Это так, конечно... Но ведь я тебя люблю. И ты... меня любишь. И мы бываем часто одни, совсем одни. Нам еще повезло. Я иногда удивляюсь, как нам везет. И ты знаешь ведь, я... все, что могу. Но я не все могу. Но я знаю, не думай... Это-то я уже знаю: счастье в каждом из нас, не в обстоятельствах. Ведь мы...

О н а. Милый, ну... Ты любишь. Я забыла. Дай я на тебя посмотрю. Ну как же не любить такого! Я злая. Ты еще ребенок. Почему так? Может, я плохая, верно, испорченная... Хотя кто это знает? Все осколки, сумятица... Но мне нужно все то, без чего ты готов прожить... Ведь ты живешь дома? А? Ты ведь живешь дома? Что молчишь?.. Мама тебе готовит? Да? Спать ты ложишься в постельку? Вот пальто на тебе? Молчишь?..

О н. Я тебе говорил. Я уйду, если ты настаиваешь...

О н а. Не криви. Ты ведь умный, не идет тебе. Не уйдешь, голубчик. Ты привык. Ты, милый, гораздо больше без этого не можешь, чем я. Тебе не уйти...

О н. Уйду.

О н а. Ну что ты!.. Ну вот и обиделся. Какой ты еще ребенок! Ну не ребенок... Это ведь я необидное тебе говорю. А зачем ты внимание обращаешь? Ты не обращай. Ну дай я тебя поцелую... Вот и вот. И сюда...

О н. Завтра же уйду... Уйду не потому, что ты... Уйду...

О н а. Милый, ну куда же ты уйдешь? Зачем, главное? Для меня? А зачем это мне? И почему ты, собственно, уйдешь? *(Смеется.)* Ты же... Ты же можешь привести меня?.. *(Смеется все звонче и тоньше.)* Ну да, к себе. У тебя же отдельная комната! Маленькая, правда... *(Резко хохотнув.)* Ты приведешь меня и скажешь: вот мы решили... *(Хохочет, раскачиваясь.)* Воображаю, какое будет у нее лицо! *(Хохочет, как всхлипывает, стихает.)* Ты молчишь? Что же ты молчишь? Что, не приведешь? Слабо ведь? А то приведи, а? Заживем. Отдельно, законно...

О н. Не надо. Не надо так, прошу тебя. Ты ведь знаешь...

О н а. Что знаешь? Что я такого знаю! Что я не могу прийти к тебе? А если я хочу! А почему же это я не могу прийти? Почему?

О н. Не надо так... Ты же знаешь сама. Это будет не жизнь...

— Почему же — не жизнь? О н а ведь у тебя умная, сдержанная, слова лишнего не скажет. Благородная... Почему же не жизнь?.. *(Пауза.)* А я вот иногда мечтаю, чтобы она была

стерва. Чтобы была толстая, неряшливая, несдержанная. Чтобы считала, к примеру, сахар... Насколько было бы проще! Да я бы счастлива была... *(Пауза.)* Хорошая? Чем же это она хорошая? Знаю, знаю! Но это ведь нехорошо быть такой вот хорошей! Выгодно! Она ведь... Почему бы я такой не была? Ты же ее боишься! Нет, а? Не любишь — боишься. *(Пауза.)* Будто я тебя отнимаю! Тут ведь не больше этого, если разобраться. Тебя-то тут и нет. Что молчишь? Молчишь что? Я знаю, ты сейчас думаешь так же, как о н а. Вы похожи. Ты не знаешь, что вы похожи. А я знаю.

— Я не похож.

— А ты не прячься. Я ведь не про лицо говорила. И ты прекрасно понял.

— Да.

— Нет, ты удивительный человек! Это только ты можешь так сказать «да»... *(Смеется, словно жмурится.)* «Д-да...» Ведь никто, никто не знает, какой ты на самом деле. Ты еще маленький — не обижайся, — ты еще маленький. А какой же ты будешь?! Господи! Все будут с ума сходить. Я одна сейчас знаю, какой ты будешь. Мне Нинка говорит: что тебе в нем? А я знаю... Только меня вот не будет с тобой.

— Конечно, буду.

— Только ты уж тогда не забывай. Покажись иногда. Чтобы я посмотрела. Покажешься, а? Я буду уже стару-уха.

— Не надо. Ну что ты говоришь!

— Вообще-то не такая уж и старая я буду. Маленькая собачка до старости щенок... *(Неживо смеется.)* Так что тебе и не слишком стыдно будет меня увидеть, ты не бойся. Такое не проходит...

— Ну зачем ты!.. Ведь это не прошло. И не пройдет...

— Не люблю, когда так говорят. И голос деревянный. И не веришь ты, что сам говоришь. Вот сейчас головой замотаешь, а не веришь. Не люблю. Я ведь почему говорю? Я у мужа сегодня была... Я знаю, ты от самого дома хотел об этом спросить, только разговор не о том был, тебе неловно было. А ты ведь не забыл. Где-то у тебя остался вопросик-то? На веревочке... Все время висел. И это тоже — о н а! Я ведь «такая»... Ты мне веришь, а там, где вопросик, и не веришь. Ты не думай, что вот у тебя «благородное чувство», так я изменюсь. А я и останусь такая. Хотя бы потому, что вопросик... И не потому. Так что же ты не спросишь, зачем я к мужу ходила?

— Мне не это важно. Я потому...

— Важно, очень важно! Всем это важно... Я к нему пришла, и мы с ним уснули... Да, вместе. Ну что, милый? Глупенький... Да ведь я же ему жена... И мы не разведены еще. Ну что надулся? Поцеловать?

— Не надо.

— Ну что ты... Глупый... Ты не гнись. Все равно поцелую. Ну, сильный, сильный... вижу. А мы ведь просто так уснули. Ничего между нами не было. Уснули — и все. А ты мне поверь, поверь... Вот я тебя и поцеловала! Ну что ты такой? Ой, какой же ты смешной бываешь!.. Все не веришь?

— Верю.

— Не веришь... Господи, ну что же это я за дура! Ты ведь все думаешь, почему я к нему пошла? А я так все рассказываю, словно ты знаешь. А ты не знаешь... Я ведь к нему пошла потому, что он у меня швейную машинку украл.

— *(Уже смеется.)* Машинку?

— Конечно. Я, ты знаешь, я думала, убью его. Для меня

машинка — все, последнее. Это еще мамина машинка. Думала, убью... Прихожу, а он мне список показывает. Там все, что у него еще оставалось, и машинка моя в самом низу вписана. И против каждой вещи сумма стоит. И все сложено. Вот он мне показывает список, моргает и говорит: «А я все продал». — «И машинку?» — говорю я. «И машинку». Я ему говорю, деньги-то хоть отдай! А он говорит: «А у меня их нет... Я,— говорит,— четыре столика на Новый год в «Астории» заказал. Проститься... Придешь?» Стоит, моргает. И вот думала, что убью, а вдруг мне так жалко его стало. Я плачу, а он тихий... Вот ведь и ему досталось...

— И ты пойдешь?

— Куда?

— В «Асторию»? К этому...

— Он меня так просил... «Какая ты красивая»,— говорит. Ты не думай, я-то его штучки знаю... «Неужели,— говорит,— ты все еще с этим сосунком?» (*Берет его за руку.*) Ты не сердись, это он про тебя. Он ведь нас однажды видел. На Аничковом мосту, помнишь? Я тебе показывала... А я ему сказала, что он и мизинца твоего не стоит. Нет, правда, так и сказала. А нам ведь некуда идти? Ты не думай, я ведь тебя люблю, так что ничего быть не может... Но ведь Новый год!.. Люди, праздник... А нам с тобой ведь некуда?

— Я же тебе предлагал... У Фриша собираются...

— Не пойду я к твоему Фришу! Не хочу их видеть!.. Слюняи. Я знаю их насквозь. Они этого не любят. Не хочу, чтобы они на меня так смотрели...

— Ну тогда пойдем в ресторан...

— В ресторан?.. А ты знаешь хоть, когда он, Новый год? По-сле-зав-тра! Ну в какой ресторан ты сейчас пойдешь? В любой сарай уже поздно...

— Куда-нибудь попадем... Не останемся же на улице. Это ведь невозможно...

— Вот именно. Все так просто... А деньги откуда? Ты ведь уже когда взял на праздник!.. Их же нету. Они на меня пошли, конечно, и спасибо... но их же нету. А в чем я пойду? О чем разговаривать... Не в чем мне идти. Ни с тобой, ни с ним...

— А зеленое?

— Не знаешь? А ведь, наверно, это тебе известно... В ломбарде. И 31-го срок. А ведь это единственное платье, в котором я еще хоть куда-то пойти могу. Ты ведь и это знаешь... Люблю... а вот ведь есть еще и платье! А ты ведь ничего, ничегошеньки не можешь. Даже не помнишь и не задумываешься для удобства — настолько не можешь. Люб-лю... а мне вот платье выкупить надо! Жизнь такая...

— Не надо! Только молчи... Я достану. Ты выкупишь...

— Прости, милый... я опять... я не хотела. Да и не в этом же дело! Я ведь и не хочу с тобой в ресторан-то ходить. Не с тобой это делать... Я с тобой дома хочу. Дома, понимаешь? Милый... ну чтоб мы были вдвоем, только вдвоем. И чтобы никто не мог прийти... чужой. Где он, дом?

— Достану! (*С отчаяньем.*) Достану я деньги!

— Ну где? Где, милый, ты их достанешь? Какой ты все-таки... Тебе ведь негде их достать... Ты понимаешь, «негде» — это ведь не только сегодня. Дело ведь не в этом. Мне ведь будет мало... Мне все равно будет мало — вот ведь ужас! Мне так хочется, например, летом с тобой на юг поехать. С тобой... Это уже не платье. Это-то невозможно?.. А я все равно ведь на юг поеду.

— И на юг мы поедem! (*Почти со злобой.*) Господи, неужели эти деньги... это такая ерунда! Ну если бы только деньги... Ну я работать пойду... Ну... достану наконец. Я знаю где. И ничего мне не будет. Десять тысяч по-старому — знаю где. И мы уедем. Этого же нам хватит. Даже на несколько месяцев хватит... Хватит. а? Хватит?!!

— На сколько?.. А потом? Нет, милый, нет. Ты прости меня. Ты не обращай внимания, когда я такая. Не слушай. Тут ведь столько подлого во мне — ты и не представляешь... Это проходит. Ты не слушай... Ну, конечно, любимый, мы будем вместе. Что нам юг?! Ты кончишь институт — я подожду — что такого, на пять лет старше — ведь пустяки — бывает жена и на десять старше — и ничего... Не расстраивайся, ну, хороший мой... стоит ли из-за меня... Я ведь счастлива, счастлива, что у меня — ты! Я ведь не знала этого... Я злая, прости... Все будет хорошо. И Новый год справим, вдвоем справим! Я со зла сказала, а я уже договорилась: Нина уйдет в компанию, старик тоже к какому-то знакомым пойдет... и мы останемся вдвоем... Я только на час, на один только часик в «Асторию» сбегая и вернусь... К тебе. Ну не сердись, ну пожалуйста, я ведь обещала... Я все подготовлю дома к встрече до этого. И вернусь в одиннадцать...

Он возвращался домой, глупо улыбаясь. Уверенно ставил ногу, и снег поскрипывал под ней уверенно. Фонари уже горели изредка, и прохожие попадались изредка, внимательные и торопящиеся. На Фонтанке было светлее, слева впереди грузно темнел Инженерный замок. На мосту же фонари были старинные, домиком, и Алексей почувствовал себя как бы в другом времени. И не в другом, а словно бы идет он по этому мосту тыщу лет, идет и идет: справа впереди белеют черные деревья Летнего сада — и все никак до них не дойти.

На пустой и полутемной Садовой у остановки притормозил, словно присел, автобус с одним пассажиром. Алексей мог бы добежать и успеть, но не побежал, успевать не стал. Не спешил. Улыбался глупо. Хотя где-то, быть может, и понимал, что автобус, наверное, последний, и идти ему пешком до самого дома далеко. Но домой-то идти, обо всем забыв, было куда лучше. Пахло морозом и мандариновыми корками — Новым годом.

На Кировском мосту его продуло. И он перестал улыбаться. Ругал себя, что давно был бы дома, а вот не дома. И теперь уже автобусов не будет. И трамваев тоже. И тогда мама, платье, муж Аси, сессия — все это кружило над ним, мутило душу, и Ася уходила.

Вдруг пробежала непонятная одна собака, вдвое длинней обычной, от фонаря к фонарю, — тень собаки; ноги, тени ног — много; деловито перебежала от фонаря к фонарю, исчезла. Алексей рассмеялся.

И тогда подумал, что как же он так отвлекается и не чувствует уже так остро то, что должен и обязан чувствовать. Рад отвлечься на любую собаку. И почему он вообще так не остро и лениво чувствует, даже когда ему кажется, что остро. И думает тоже словно бы нехотя. Никакой в нем страстности...

И тогда он снова подумал о том, что полгода назад, когда у них началось с Асей, все было иначе. Он тогда и маялся, и не верил, и вот-вот должен был узнать что-то, что от него скрывалось, вот-вот понять все и решить. Он и тогда ждал часами на лестницах и в подъездах и вроде видел, как Ася уходила с кем-то другим, и вот-вот все должно было стать ясно — и тогда конец. Только еще одно доказательство — и конец. Никогда

он так напряженно и маятно не жил, как в то время. Он и не подозревал, что снова и снова можно чувствовать то же самое и опять то же самое, но все сильнее и сильнее; это ему даже странным казалось. А когда вроде бы и доказательство появилось и обольщаться больше нельзя было, когда все наконец стало ясно и надо было решать, он вдруг перестал видеть, замечать, следить, больше того, он стал *не* видеть, *не* замечать, *не* следить. Потому что, если раньше он все твердил себе, что любовь требует веры, то есть правды и ясности, и не терпит обмана, то теперь любовь становилась выше ясности, и в неведении, в отказе от выяснений заключалась теперь вера и продолжение или гибель — кто знает? — его любви.

Так он шел, так он думал или не думал, потому что уже в который раз приходили к нему эти мысли: остроты прозрения в этом не было. И никогда не позволял он себе дойти до логического конца, а начинал думать о чем-либо другом, не об этом, словно смазывал, стирал резинкой набросок мысли, так что и не понять и не вспомнить потом было... Так было, наверно, нужно, раз он хотел сохранить любовь, а средств для этого никаких не было, и мысль о необходимости какого бы то ни было дела, поступка, решения действием приводила лишь к ощущению дикой беспомощности и зависимости от всего, совершенно всего: родителей, института, жилплощади, денег, собственного иждивенства и мальчишества... Только к этому приводила, ни к чему другому, и все живое тогда помиралось в его душе, а дорожке всего было это живое. Да и думать об этом значило начинать примерять эти мысли не только к прошлому, когда он хотел все вот-вот наконец узнать и решить, но и к сегодняшнему — и тогда все рушилось. Потому что ничего ведь не изменилось за это время... Поэтому так думать он ни в коем случае не мог, он бросал мысль на полдороге — дальше яма, пропасть, шагать туда не хотелось, так уже привычен был механизм этой мысли и механизм ее избегания, что и нельзя было уже говорить, что он так думал.

Он уже замерз. И тут, совершенно неожиданно — автобус — казалось бы, их больше не должно быть, — и Алексей вскочил в него.

ТРИДЦАТОГО ДЕКАБРЯ

Он мычал и не мог проснуться. Затем он мычал и не хотел проснуться. Затем он мычал и делал вид, что не проснулся. Над ним стояла мама и сдержанно, но твердо, в чем были огромный опыт и знание всего: как Алексей не умеет вставать, и как он прикидывается, чтобы не вставать, и что он уже не спит, а только делает вид, и где он вчера был, — над ним стояла мама и методично, словно опережая каждую возможную уловку или возражение... над ним стояла мама и говорила:

— Алексей, проснись. Ты вчера просил разбудить тебя в шесть. Алексей, ты уже проснулся. У тебя сегодня контрольная. Алексей, лучше встать сразу и не мучить ни себя, ни меня. Встань, как я тебя учила: сядь — и сразу ноги на пол.

Тут уже все безнадежно.

— Сейчас, мама... я уже проснулся... я уже больше не усну... я сейчас встану...

— Алексей! Открой глаза.

Надо хотя бы открыть глаза... Но их не открыть. Все-таки открыл. И тогда особенно понял, как хочет спать. Словно они

были полны песка, и сейчас, когда он раздвигал веки, песок зашевелился, заерзал под ними.

— Вот видишь... я открыл... я не сплю... сейчас встану...

— Алексей, я не обязана над тобой стоять.

Все было кончено. И он действительно проснулся. И действительно, сегодня надо переписать контрольную — последний срок. Он сел на кровати, сразу бодрый, не спавший, чуть заметно для себя дрожащий. Действительно, раз он так уж не готовился, надо успеть хотя бы написать «шпоры». Неосознанная и страшноватая ученическая боязнь и суета возникли в нем и одновременно особая отличниковская старательность, хотя вот уж отличником он никогда не был... Так это все мелькало — мечталось, как он чудом, но все-таки подготовится и напишет на «пять», будет допущен к экзаменам и их тоже все сдаст на «пять» — подумать только... Все он делал очень споро, но в то же время как-то слишком тщательно и подробно: и чистил зубы, и мыл шею, и грел завтрак, и пил чай. Там, где-то на доньшке, где у нас мотивировки и оправдания, это звучало так: излишняя поспешность только вредит делу, спеша медленно, главное — экономия движений и организация и так далее — та же отличниковская игра.

Возвращался в свою комнату, садился за стол, доставал конспект. Конспект этот он вымолил у Кошеницына — тот, конечно, все уже сдал раньше всех. Вымолил на один вечер, а держит уже третий день. А сегодня уж точно придется отдать.

Раскрыл конспект, поругивая себя за потерянные три дня: вот когда бы он действительно все знал! — сладкое и лживое ощущение отличника снова забиралось в него, небольшое такое тщеславие. Аккуратно вырывал он чистый лист из чистой тетради — на таком хотелось писать чистым толковым почерком и отчеркивать карандашом поля (можно и простым), и нумеровать страницы, и составлять содержание, тетрадь окончив. Такая она толстая и красивая, и вся исписана — наслаждение и удовлетворение, труд и плод того же отличника... Тетради такой у него, конечно, не было, но чувство было, и поэтому он выстриг чрезвычайно аккуратные полоски для шпаргалок, много больше, чем успел бы написать и чем даже надо было.

За стеной скрипела кровать — садилась мама, шаркала шлепанцами к его двери, мама шла проверить, что за подозрительная тишина у сына, уж не спит ли... Сын успевал спрятать полоски и сосредоточиться над конспектом. Дверь отворялась, мама видела склоненную голову сына (сын не поворачивался к ней — это был пережим, но его не замечали ни он, ни она), некоторое удовлетворение появлялось на усталом мамином лице.

И мама ушла.

Все сразу разжалось в Алексее. (Больше ему не полагалось проверки.) Тело вдруг затеплилось, зацепенело до кончиков пальцев. Он взглянул в окно... Там было еще так безнадежно, по-зимнему темно: только болтается фонарь, высвечивая взад-вперед белую крышку заводского склада, и часовой топчется у гриба. И этой картине одиннадцать уже лет — и вот уже картину эту видит он давними, совсем детскими глазами, от этого появляется ощущение не совсем еще забытого детского кошмара, который и до сих пор ему непонятен. Что-то странное начинает твориться с руками — они растут, разбухают, чужие, не свои, и что-то ужасное и непоправимое, неизвестно что произойдет сейчас с тобой. А фон и место действия кошмара — зимнее утро, школа, ранний туда приход, разде-

валка, желтый гнойный свет и от этого грязновато-голубые стены, и тот же свет коридоров и классов, бесшумное всех движение, и учителя как огромные мышцы этих коридоров...

Алексей смотрит на будильник — остается всего час. Не успеть — что-то сжимается от того же ученического страха. Он судорожно подвигает полоску «шпоры», аккуратно выводит название темы и подчеркивает. И подтемы — и подчеркивает. Теперь уже надо выписывать из конспекта. Тетрадь толстеет на глазах. И тогда тошнота, безотчетное отчаяние подступают — и он снова смотрит в окно: фонарь, гриб и неуклюжий, конусом, часовой, похожий на черного деда-мороза, — то же тепло и оцепенение подбирается к Алексею — сон.

Он снова поймал себя на том, что идет в обход. Не по краткому пути: центральный вестибюль, картинная галерея, главная лестница, деканатский коридор, — а через столовую и химкорпус, с другого конца. Именно чтобы не встретиться с кем-либо из преподавателей или из деканата. При этом мысль, что в этой-то каше перед началом сессии и не до него, таких много, была для него досужей. Даже если так, просто сталкиваться не хотелось.

Он только с некоторым удивлением замечал, что в начале года бодро ходил по главным путям и не тушевался у деканатской двери, тогда все еще было впереди и завтра он садился заниматься. Особому анализу он, впрочем, не предавался, идя в обход, это уже было не в первый раз, привычно.

Все уже почти были в сборе в темном тупичке около аудитории. Гудели. Пока он всем пожал руки, тоже пришел в возбуждение, словно наэлектризовался. Все вели себя по-разному. Быченков, конечно же, ныл и недостойно у каждого что-нибудь выпрашивал или договаривался, заручался, так сказать, у каждого, кто что может. Быченкова избегали, но он ловил, и те скучнели и соглашались. «И в результате ведь напишет...» — неприязненно подумал Алексей. Кто-то суетливо шуршал конспектом, отвернувшись к стенке, — последняя возможность. Это был Денисьев. «А этот не напишет», — подумал Алексей. И другой точно так же шуршал, Фроленко, Хроленко, как его звали, но: «Напишет», — подумал Алексей. Еще двое были бодрее всех, стояли у самых дверей, ждали впуска, это, так сказать, центрфорварды во всем, дружные ребята, сачки, но успевают всюду — эти напишут. Что-то очень унижительное почувствовал вдруг Алексей в этом трепете перед дверьми. Но тут же постарался прогнать это ощущение — засуетился со всеми.

То есть он стал по очереди у всех заручаться «шпорами» — безнадежное дело. Во-первых, все они были уже «забиты». Во-вторых, все что-нибудь уже имели к контрольной — только он не имел. От этого становилось плохо: казалось, все напишут — только он не напишет. Оставался Мишка, лучший приятель, но у него и самого наверняка ничего нет. На всякий случай подошел и к нему. Оказалось, и у него были. Никого теперь не было такого же, как он... И даже тут — в который раз! — подлетел Быченков и заскулил: «Я уже за Мишкой забил...» — «Я думал, ты не придешь...» — сказал Мишка. «Что ты их, солить собираешься?» — зло сказал Алексей Быченкову, но отворилась дверь, в дверях — доцент Вершинин, все ринулись. Набились в три задних ряда, как селедки. «Мальчишество, глупость, — думал Алексей, толкаясь и пихаясь со всеми

и занимая последний краешек последнего сиденья,— все равно ведь сгонят...»

— Что за детский сад! — сказала ассистентка Большинцова. «И она тут... их двое,— удрученно подумал Алексей,— а я и не заметил». — Что за детский сад! — сказала она. — Аудитория специально большая... По два человека за стол.

Все давились со щенячьим замиранием и не трогались с места. Это относилось ко всем, но не к каждому.

— Это ко всем относится! — сказала ассистентка. — Ну же.

Это выглядело глупо, ассистентка была интересная женщина, и Алексею стало неловко. «Безнадежное же дело,— подумал он,— что за скука и тоска...» И встал чуть ли не первым.

— Проходите вперед, не стесняйтесь,— сказала ему ассистентка.

Вершинин кончил разбирать билетки и разносил их по столам. Алексей сидел один, впереди всех, вертел свой билетик. Обернулся: центрфорварды сидели лучше всех, в конце у стены; Быченков тоже сидел неплохо. На всех лицах была уже серьезность, контрольный азарт, лица выглядели нездоровыми. Каждый впивался в свою бумажку, чуть не выхватывал ее из рук Вершинина. Вершинин же отдавал их не спеша, словно взвешивая и не сбиваясь со счета. И вот уже все оделены.

Алексей совершенно не узнавал свою функцию, нарисованную на бумажке. Он даже не пытался напрячься, такая она была незнакомая. Обернулся назади сидящих. Все, все что-то писали — так казалось. Нагло «шпорили» центрфорварды. По проходу ходила ассистентка, встретила с Алексеем взглядом — пришлось отвернуться, чтобы не спросила: «Вам что-нибудь надо?» — и вообще не стоит мозолить. Нарисовал крендель, в нем другой. Ассистентка подсела к Вершинину, зашептались. Вот он, момент! Сердце стучит на всю аудиторию. Алексей с замиранием, тихо тянет из-под свитера конспект Кошеницына. Конспект там нагрелся, теплый... И вот тетрадь на коленях. Теперь надо... Алексей косится одним глазом — ничего, разговаривают Вершинин с Большинцовой, не смотрят. Теперь осталось только найти в конспекте, что ему надо. А что ему надо? Алексей крутит под столом страницы — ничего не узнает. Страницы гремят. Будто он идет по крыше — такое ощущение: и грохоту много и упасть можно. Алексей косится на Большинцову: не слышит ли та этот грохот, — Большинцова косится на Алексея, словно слышит. В испуге он судорожно запикивает конспект как можно глубже в стол, так что теперь ему до него и не дотянуться. Вздыхает освобожденно. К черту.

Отдохнув, Алексей обернулся: невообразимая деятельность протекала всюду. «Неужто о н и не замечают? — как обычно, удивился он.— Опытные же ведь люди... Не хотят,— подумал он.— Но тогда почему же они все-таки иных ловят? Меня, например, поймали бы с охотой... Жертвы,— ответил он себе,— жертвы для острстки. А всех нельзя. Кто же тогда учиться будет?» Кренделей было уже много. «Взять вот, вывести функцию кренделя — и сдать... Хулиган, скажут, но какие способности!» Вершинин с ассистенткой беседовали, ассистентка тихо и мелодично посмеивалась. Алексей обернулся: те же деловые склоненные головы, судорожные ужимки со «шпорами», никто ни на кого не смотрит, центрфорварды строчат, и Быченков строчит... Никому ни до кого нет дела. Вот только что и поймал растерянный взгляд Денисьева, сделал ему какой-то знак и сам бы не понял, какой и зачем; Денисьев сделал жалобное лицо,

мол, сам ни черта не знаю, каждый сделает такое лицо, даже если и знает, чтобы отвязаться, чтобы зря не рисковать... Противно. «Каждый за себя, каждый за себя... — вырисовывал крендели Алексей. — Все немножко Быченковы...» Вот если бы сидел поближе Быченков, Алексей бы хоть немного развлекся: пооборачивался бы к нему, попугал, посмотрел бы, как бы тот стал отмахиваться и шипеть и какое жалобное пополам с ненавистью было бы тогда у Быченкова лицо. Это его немного развлекло, такое представление. Вот уж кто никогда не поможет! Еще Алексей помечтал о том, как он вдруг знает каждый предмет лучше любого преподавателя, отвечает по этому каждому предмету и на экзаменах всех сажает в лужу, не всех, а тех, кого не любит, тем же, кого уважает, просто отвечает так блестяще, так блестяще, что ему в ведомость ставят «пять» с пятью плюсами, а оригиналы даже «шесть» ему ставят... Но тут уже кто-то первый сдает работу, и второй. «Вот ведь сволочи! — думает Алексей. — Что за отличниковская пруть! Первый, не первый — что за удовольствие такое! Написал — помоги соседу. До контрольной сами небось так говорили, а теперь несут. Эдакая подобранность и серьезность на лицах... Или: раз уж написали и не засыпались, то зачем же засыпаться, помогая? Боятся, еще и поэтому спешат сдать. И центрфорварды, и Быченков... Даже Денисьев и Мишка что-то строчат поспешно — дождались, значит». Хоть бы кто спросил его: может, помочь? Все же проходят мимо, сдавая работы... Один из центрфорвардов, правда, спросил, но таким уж шепотом, чуть ли не нарочно громким, чтобы заметили и прогнали (а работу он уже сдал, так что ему ничего), и такое при этом было у него лицо, заранее испуганное, только ждущее, чтобы ему ответили: «Нет, ничего не надо», что Алексей только рукой махнул: проходи, мол, проходи... Хорошие все-таки ребята, эти центрфорварды, лучше других. Самые-то лучшие сами сейчас заваливаются... Алексей сложил свой листок кренделями внутрь, надписал и сдал. Положил в стопку — вышел.

— Ну как, Леха? Ну как? — набросились на него центрфорварды.

— Да никак, — небрежно сказал Алексей.

— Что же ты, что же ты?! — зашептали они. — Там же всего четыре варианта было, мы установили. У нас ответы на все есть. Мы бы переслали...

— А-а, — неопределенно сказал Алексей и пошел.

— Ты совсем уходишь, а? — слышал он, но его уже не было. Тем же кружным путем спустился он в подвал раздевалки. Раздевалка была пуста, он вошел туда, пригнув голову, отчего у него всегда появлялось ощущение, что он очень высокий, хотя просто проход был очень низкий. Две раздевальщицы переговаривались, перегнувшись в своих окошках. Радио пело песню «Когда я на почте...», это была обожаемая в детстве песня, и он еще не успел ее до конца разлюбить. Тут было тепло и уютно. Тускло светили лампочки. Толстые, мохнатые, теплые на вид трубы тянулись по стенам. Он подал номерок. Раздевальщица была молода и ничего себе, что-то и еще особенное было в ее лице, чуть развратное, что ли, или так она на него взглянула, или такой был теплый полутемный подвал — очень сладкое и тоже школьное ощущение, только теперь он в другом качестве, знает, что это такое. Он смотрел ей вслед, пока она, покачиваясь — все на ней в обтяжку, — шла между вешалками и пока возвращалась, и глядя и не глядя на него, не зазывая и не отталкивая. Все это сильно подействовало на

Алексея. Особенно, что взгляд ее и призыв был не до конца — это действовало еще сильнее. Ему хотелось взять ее за руку, или потрепать по щеке, или задеть словно бы случайно грудь, но он не сделал этого и ничего не сказал — оделся и ушел.

Зажмурился от света — вот ведь уже и светло! — вдохнул полной грудью и оказался на свободе.

Не было двенадцати, а он был уже дома. Никого, кроме Пелагеи Павловны, не было. С детства он любил, когда никого не оставалось. Он бродил тогда по комнатам, совал свой нос в шкафы и столы, варил себе чай и пил его через макаронину, читал лежа. Потом приходили. И это было хорошо, что уроки кончались раньше работы. Два часа свободы. В распорядке дня.

Пелагея Павловна обрадовалась, что пришел Алексей и кто-то теперь есть, кроме нее, в квартире, и, обрадовавшись этому, ушла на рынок. Это было еще лучше для Алексея. Он закрыл за ней на крючок, так что теперь никто не мог бы войти с ключом, надо было звонить. Так делалось, когда оставался только кто-нибудь один. Ввела это Пелагея Павловна, ссылаясь на глухоту.

Алексей достал из холодильника замечательный теткин паштет, сделал себе бутерброд и все прилежно расставил по своим местам — сработал под Пелагею. Укусив бутерброд, он прошел в теткину комнату. Окна выходили во двор, и комната была сумрачная. До сих пор многое в ней Алексей видел глазами детства. И теперь ему до некоторой степени семь лет, когда он входит сюда. Словно входит он, несмотря на запреты, захлебываясь от собственной смелости. И видит, всегда первое, что он видит, — эту желтую Венеру, такую голую и безрукую. А потом рояль, книги. Но теперь это было только чуть-чуть. Венера теперь была очевидно гипсовая, а сам он очевидно к ней равнодушен.

Алексей просмотрел стопку книг на рояле, торкнул пальцем в клавиши. Звук вытянулся по комнате и растаял, словно бы в сумраке. Доел бутерброд, обтер руки о попону рояля, полез в буфет. Достал початую бутылку кагора, примерился и отхлебнул, пристально взглянул на уловень, отхлебнул еще. Поставил на место. Все это он заел ложкой варенья. Варенье было свежее, не засахарившееся — сплылось сразу, словно и не ел. Опять же все расставив по местам, как и было, достал из-за трюмо теткину записку — вскрытую пачку «Любительских», — закурил. Сел за теткин стол. Стол был старинный — огромный, с массой ящичков. Он не стал сразу их открывать, а сначала осмотрел сам стол, его поверхность. Тут было много достопримечательного, и во всех этих ножичках, стаканчиках, календарчиках он узнавал старых детских знакомых. Тут лежали какие-то бумаги — в основном протоколы заседаний кафедры, они его не заинтересовали. Прочел довольно свежее письмо от какой-то восторженной Туси, совсем уже старушки, по-видимому, письмо предназначалось Кисе, то есть тетке. Помнит ли та, как они вместе, и т. д. Становилось немножко стыдно: так давно это было, — Алексей почти понял, что не надо было его читать, и он сказал:

— Действительно, запомнить трудно... — ухмыльнулся для бодрости, но письмо отложил. Ключи от стола лежали все в том же стаканчике. Он отпирал ящики по очереди. Тут мало что переменялось за последние годы, можно сказать, ничего. Все

оставалось в том же безукоризненном порядке и на тех же местах. В ящиках по-прежнему хранилась память, и ее в них не прибавилось за эти годы. Он узнавал и эту стопку фотографий, и ту, и связки писем те же. Жизнь этих ящиков остановилась слишком давно. Это было грустно видеть. Живым казался только один ящик, самый большой, центральный. Он и тогда был живым. Он действовал по сей день. В нем сосредоточились текущие дела. Из одиннадцати ящиков стола они помещались в одном. Но и тут попадались вещи старые, просто тетка ими еще пользовалась. Книга расходов, например. И адресов с телефонами. Потом опять письма, довольно немного. Списки каких-то товарищей. Билет в лекторий. Еще что-то. Несколько футляров с авторучками и карандашами. Клубок штопки. Пухлый блокнот — делегату чего-то, совсем непочатый. Записная книжка. Там, среди прочих записей, Алексей натолкнулся на список облигаций трехпроцентного (золотого) займа. Список был очень велик. Но в этом ящике Алексей обнаружил всего две облигации, больше не было. В списке эти две не значились. Значит, остальные хранились где-то в другом ящике. Алексей снова аккуратно пересмотрел все ящики, но облигаций — это должна была быть толстая пачка — не обнаружил. Он ясно представлял, какая должна была быть эта пачка, завернутая, перевязанная ленточкой, и под ленточкой картонка, и теткой рукой написано: «3%-й (золотой)». Алексей так это ясно себе представил, что ему даже показалось, что он уже видел эту пачку сегодня, и старался вспомнить, в каком же ящике видел. Но вскоре понял, что ищет зря, а кроме стола, хоть убей, не мог представить, где бы тетка их хранила... Он привел все в прежний порядок, взял из среднего ящика те две облигации и остановился в раздумье. Они были гладкие, ровные, зеленые, и как-то сгибать их не хотелось. Взгляд его остановился на ночном столике — там лежал обширный атлас мира. Алексей заложил облигации в какую-то Африку и вышел с атласом из комнаты.

Выйдя, он быстро, но не суматошно прошел в комнату Трефилова. Там он ничего не осматривал, сразу подошел к письменному столу и, хотя не знал, где что лежит, как-то удивительно скоро угадал место, где лежали облигации, вытащил из середины пачки одну и заложил в тот же атлас, к первым двум.

Сердце его колотилось — он внезапно заметил это, когда уже вышел от Трефилова и шел по коридору. Он подошел к входной двери и снял крюк. Тупо постоял в прихожей и прошел в мамину комнату.

В комнате был необыкновенный запах, и Алексей словно бы не сразу узнал комнату. Прислонившись к стене, стояла елка. «Ну да, елка... — сообразил он. — Новый год же». Елка была очень хороша. «Вчера ее еще не было, — вспомнил Алексей. — Когда же они успели ее притащить?»

Он сел в кресло напротив, положил атлас на колени и стал смотреть на елку в ожидании Пелагеи.

«Где они достали такую прекрасную елку?»

В сберкассе ему было трудно. Он, в общем, не знал, какие там порядки. На всякий случай прихватил паспорт. Народу было немного. Очереди было две. Спросить, куда следует встать, он почему-то не мог и встал в ту, что покороче.

Люди приходили и уходили. Дверь хлопала за ними.

И вдруг распахнулась с особым грохотом. Вошли двое. Неб-

ритые, в ватниках и сапогах, с полевыми сумками. Ни на кого не глядя, молча прошли в угол, вытащили два кресла, составили их корытцем, подвинули к креслам два стула и сели, по-прежнему какие-то удивительно отдельные от всех. Они трясли свои сумки над креслами — из сумок сыпались скомканные шариком деньги. Сыпались, сыпались — целая гора. Все-таки высыпав, они тщательно смотрели в сумки, как в подозрные трубы, — но в сумках и действительно ничегошеньки не осталось.

Потом они разглаживали бумажки и складывали пачками: трешки — к трешкам, рубли — к рублям.

Эти необыкновенные люди нравились Алексею. У него мелькали всякие картинки вроде таких, что у них по кольцу на боку, и вот они достают эти кольца — все поднимают руки, а они двое чистят кассу...

Очередь была хоть и короткая, но не та. И Алексей, рассердившись, перешел в хвост той, что подлиннее... Тут он заметил в руках впередстоящих облигации и обозлился еще больше: как он сразу не заметил!

Те двое все гладили и считали деньги — Алексей снова успокоился, глядя на них. Так он спокойно стоял в очереди и уже был у самого окошка, как те двое вдруг заговорили, не разобрав что, и стали складывать деньги обратно в сумки.

Сложили и ушли. По-прежнему никакого отношения ни к чему не имея.

«Ничего не понимаю», — подумал Алексей, но застучала по стеклу сердитая кассирша. И действительно очередь была Алексея.

Краснея, он сунул в окно облигации.

Дальше все произошло как бы мгновенно.

Какая-то старушенция дала ему шестьдесят рублей.

И паспорта у него не спросили.

...Дома Алексей ждал звонка. Ася не звонила. Это дьявольское неудобство, думал Алексей, когда у человека нет телефона!

Ася позвонила только в одиннадцатом часу. Сказала, чтобы приходил завтра с утра. А что ее сегодня не было? Все бегала, бегала...

Перед сном он читал «Моби Дика».

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ

Все было очень хорошо. Дверь открыла сама Ася. Была она в пальто, но еще не застегнутом, под пальто тот же халатик. Она обрадовалась, чмокнула его в щеку.

— Вот и хорошо, милый. Вот спасибо, что пришел. Ты всегда такой точный, просто прелесть. Не то что я. А я, понимаешь, очередь в парикмахерской держу... — Она улыбнулась. — Тут, напротив. Ведь мы же сегодня с тобой встречаем. (Она сделала ударение на «тобой» и замечательно на него взглянула.) Я должна быть красивой.

Она улыбалась. Алексей таял. Вокруг светлело, и что-то взлетало в нем, как стая. Он взял ее за руку, потянул к себе.

— Не надо, Алеша... Не дразни... Сейчас мы в парикмахерскую пойдем. Ладно?

Алексей сразу выпустил Асю, но был счастлив.

— А я деньги достал...

— Да? — почти равнодушно сказала Ася.

— Вот.

— Так много? — сказала она так же спокойно, Алексей был немножко разочарован и в то же время благодарен ей за то, что она не вскрикнула, не затормошилась.— Откуда у тебя?

— Достал,— важно сказал Алексей.

Ася словно бы отсутствовала.

— Вот и хорошо,— сказала она после паузы.— Дай мне на ломбард. И десятку на встречу — я всего куплю. Нам ведь хватит десятки?.. Ну что, пошли? А то у меня очередь.

Они спустились на улицу, и Алексей удивился, какая замечательная погода. Словно за городом, всюду был снег редкой белизны. И дома заиндевели. И эта старая улица с небольшими, темными уже зданиями была очень хороша. Город был непохож на себя, плавный и мягкий. Не этот город. «Вот всегда,— подумал он,— я замечаю красоту, когда рядом Ася, хотя бы она и не замечала. Так ведь и не вспомнить, чтобы я один увидел город, или сад, или погоду, или небо». Небо тоже было удивительное — белое, близкое и мягко, но одновременно светлое.

И все это — только улицу перейти — и парикмахерская. Ася оставила его у дверей, сама вошла. В открывшуюся на секунду дверь он увидел, что узенький зал ожидания — битком, и все женщины там стоят в расстегнутых пальто; полутемно, а за фанеркой яркий свет. Ася тут же выскочила, тоже расстегнутая, и сказала:

— Подвинулась, но еще далеко. Тебе нет смысла ждать.

— Да нет,— сказал Алексей.— Я подожду.

— Ты лучше купи вина, а то я не успею — столько дел.

— Ладно,— сказал Алексей.— Иди, замерзнешь.

— А потом сюда приходи, слышишь?

В магазинах было не продохнуть. Он входил, видел толпу и отчаивался. Так он заходил в несколько. Наконец понял, что только теряет время и нигде меньше не будет. И все-таки снова вышел из магазина. И тогда, свернув в нелепый закоулок, заметил погреб и нырнул туда. Тут были только мужики, в большинстве пьяные. Тут же и пили, бродили со стаканами. «Вот ты погоди,— говорили они,— вот ты погоди». Их было много, но очередь двигалась быстро, и Алексей достал все, что надо. «Купил, значит»,— сказал ему небритый папаша и ласково посмотрел. «Да вот купил»,— ответил Алексей, пряча бутылку. «Вот и молодец».— «Да уж»,— смутился Алексей. «Папу не обижай»,— сказал папаша.

Все было хорошо. Алексей вернулся к парикмахерской. Помедлил, но прошел. Он обвел растерянно взглядом толпу женщин. Все на него смотрели, но Аси среди них не было. Все были очень простые, чуть ли не все в халатах и платках, не такие таинственные, как на улице. Рассматривали Алексея и вроде бы и не рассматривали в то же время. Алексей смутился.

— Ушла твоя уже, ушла,— звонко сказала одна, он не очень понял которая, по-видимому, вон та, круглая. Все засмеялись. Алексей тоже. И тут было тепло и уютно, хотя и тесно. И Алексею стало хорошо от этого слова «твоя»: «твоя ушла». Уютно оттого, что праздник, подумал он; понял, что все стоит и стоит, а надо уходить, еще больше смутился. Увидел телефон-автомат.

— А мне позвонить...— сказал он.

Девушка, заслонявшая автомат, отошла. Была она строгая и красивая и отошла, не меняясь в лице, такая же надменная. Он набирал неведомый номер, посматривал на девушку. А интересно, когда она любит, то она, конечно же, не такая? Мо-

жет, она потому и такая, чтобы каждому было интересно, а какая же она, когда любит? По телефону его обругали, и он вышел, стараясь не поймать ничьего взгляда, быть может, насмешливого.

Он ждал, что откроет Ася, она уже дома, но открыл Сергей Владимирович. Он был необыкновенно симпатичен, прям и свеж, улыбался.

— Алеша? Здравствуй, проходи. С наступающим!

И это было хорошо. Так приятно, когда с охотой можно ответить:

— Вас также. С наступающим!

Алексей прошел в комнату первым, они еще помялись в дверях с Сергеем Владимировичем, но тот настоял, и Алексей прошел первым. В комнате никого не было. Алексей сразу сообразил, что Ася на кухне. Комната была та же, но вроде и другая. Алексея всегда удивляло, как та же самая комната может быть и другой. Конечно, тут и приборка много значит. Тот же колченогий стол, и те же три, в общем, железные кровати, и тот же комод, когда-то красного дерева, и те же, уже никакие, обои — все это сегодня было как нельзя на месте, и то, что комната была в целом пустая, тоже было как-то кстати. В ней даже было как-то светлее, вернее, полумрак был словно бы чище и теплее, да и было теплее; печка была вытоплена нескучно. И Сергей Владимирович сегодня хорошо подходил к этой обстановке. «Скорее, что это праздник,— подумал Алексей,— вошел всюду...»

— Садись,— сказал Сергей Владимирович, снимая со стола ботинок, и растерянно при этом улыбнулся.

— А где Ася? — спросил все-таки Алексей.

— Не приходила еще. Да придет она сейчас, не беспокойся. Не сейчас, так скоро.

«Ну да, она, наверно, была в зале,— сказал себе Алексей,— а я не посмотрел».

Сергей Владимирович бывал временами очень славным стариком. Тогда особенно становилась заметной его незаурядная внешность. «Порода,— говорил он.— Я очень похож на Бунина, не правда ли?» Бедность костюма все это в нем подчеркивала. У него был черный такой самосшитый френч с черными пуговицами. Френч был плотен, как пальто. По-видимому, он и был когда-то пальто. Это было удобно: не требовалось ни рубашки, ни галстука. Когда Сергей Владимирович становился чопорен, френч выглядел на нем жалковато. Сегодня же Сергей Владимирович не был чопорен. Он, перекатывая свое замечательное «р», рассказывал, как был корнетом или юнкером или что-то в этом роде, то есть учился на офицера, и как они тогда холостой компанией в тройках закатывались к цыганкам, как все это было здорово: и снег и шампанское; доставал желтую фотографию виллы в Крыму и такую же первой жены, первой красавицы; и до того это было уже все известно Алексею, что даже казалось странным, что ничего-то больше Сергей Владимирович не запомнил... Всегда одно и то же, и всегда словно бы сам себе не верит: да было ли это?.. — и поэтому повторяет и повторяет, как бы настаивает. «Да было ли это? — вдруг растерянно морщит лоб, словно отвечает себе: — А что? Может быть. Может быть, и не было. Все может быть...» И замолкает вдруг, ненадолго, правда, и лицо его огорчается. «Как в пьесе,— думал Алексей.— Он как в пьесе...»

Потом они попили чаю. Сергей Владимирович доставал вонючий рокфор: «Кар-р-петками пахнет!» — говорил он и

смеялся — они пили чай с рокфором. Потом даже рюмку ликеру поднес Сергей Владимирович Алексею. Ликер был ужасный, мятный, что ли. А Ася все не шла.

Сергей Владимирович вспоминал уже о том, сколько что стоило.

Ася все не шла... Алексей уже думал так: она же велела прийти к парикмахерской... и вот она вышла, а его там нет. Он елозил, слушать ему становилось трудно, а Сергей Владимирович доставал шахматы — их Алексей терпеть не мог. Алексею казалось, что сильно стемнело, хотя темнеть еще было рано; комната становилась чужой.

Тут отворилась дверь, они обернулись... Комната была длинной, окна и дверь были в разных концах, и до двери свет окна, и так слабый, еле уже доходил — так что было не понять, что там, в дверях, происходит. В комнату входила большая елка. Потом уже Алексей увидел за елкой Асю, бросился помогать. Елка кололась, ветка заползала в глаз, он смеялся, облегченный, с елкой в руках. И смеялась Ася.

Сергей Владимирович извлек откуда-то пыльный елочный крест. Алексей закрепил елку, все втроем понесли они ее по четырем углам, пока не отыскали один из четырех. Алексей отошел от елки, необыкновенно возбужденный, и все сжимал и разжимал смолистые свои ладони, они склеивались и расклеивались.

— Надо бежать, надо бежать,— сказала Ася.

— Куда?

— В ломбард, уже совсем мало времени.

Алексей почему-то удивился, ломбард казался ему само собой прошедшим.

— Ты меня проводишь? — сказала Ася. Лицо у нее было рассеянным.— Или, может, тут подождешь?

— Конечно,— сказал Алексей,— провожу.

— Смотри. А то как хочешь. Я могу и сама...

Алексей уже одевался.

— Оставайся, Алеша,— просил Сергей Владимирович.— Партию доиграем.

— Потом доиграем,— сказал Алексей.

До ломбарда было три или четыре остановки, и они их доехали. Ася была как-то сосредоточенна и поддакивала Алексею через раз.

Перед ними оказалась площадь. Собор и сад перед собором. Метро. За ним рынок. Его не было видно, но он как-то ощущался. Там же, где они сейчас находились, сторона была темная, из жилых домов, и тут же находился ломбард. Он был как-то скрыт, спрятан. Ася сказала, надо проходить во двор и еще подниматься по лестнице, но сейчас, когда Ася почему-то остановилась перед домом, Алексей ощущал ломбард так же, ну вроде как рынок за собором.

— Ты тут подожди, я схожу одна,— сказала Ася.

Алексею показалось, что стесняться тут нечего, могли бы они и вместе пойти туда, но по характеру своему он не вмешивался, когда его не просили, и остался стоять; Ася же ушла в подворотню. Почему-то его очень разволновало, как она туда уходила.

Ее долго не было. Место для ожидания было неудобное, на самом людском потоке. Он выбрал между троллейбусной и автобусной остановками, между двумя очередями,— там и встал. Времени прошло пятнадцать, двадцать, полчаса. Тогда Алексей тоже прошел по расплывшимся уже стрелкам на облупленных стенах, он представлял себе, какой ломбард (в ломбарде

он раньше не бывал), и получалось что-то вроде сегодняшней парикмахерской. Он раскрыл дверь — она хлопнула за ним с ржавым писком — и очутился в загибавшемся коридоре. От дверей еще ничего не было видно, только свет в конце. Он пошел и, когда поворот открылся ему полностью, увидел очередь. Ломбард в конце концов на парикмахерскую не был похож, а скорее на прачечную. Алексей искал глазами Асю и не нашел. Как вдруг кто-то тронул его за локоть с другой стороны, чем он смотрел.

— Отойдем,— шепнула Ася.

Они отошли немного от толпы, и Ася сказала:

— Тут еще не так скоро. Может, ты домой пойдешь? Правда, не стоит меня ждать. Ты иди и приходи в одиннадцать, ладно?

Взгляд ее был рассеян. Люди стояли, казалось, молча. Свет был неприятен, слабый, неживой. А главное, коридор, который гнулся не под прямым углом, а изгибался, эта кишка, темная с входа и светлая в другом конце... Алексею было немного не по себе. Воздух тоже...

— Ладно, я подожду на улице,— сказал он.

Ася вроде бы отряхнулась, взгляд ее сосредоточился на Алексее, потеплел:

— Глупый ты, иди прямо домой, не жди,— и она чмокнула его в щеку.

Спускаясь, Алексей на темной лестнице столкнулся с человеком, несколько странно на него взглянувшем и поэтому сразу показавшимся знакомым. Алексей все вспоминал его, спускаясь дальше и выходя во двор и на улицу, он не мог вспомнить. Ему стало казаться, что это Асин муж, но он не был уверен, потому что не разглядел толком его в тот единственный раз, что видел, да и этого, на лестнице, не разглядел. Тем не менее все тревожней ему становилось, он поэтому не уходил — ждал, хотя и не поднимался в ломбард проверить: получилось бы, что он следит, а ведь это не так. Через полчаса он не выдержал и медленно, но начал проходить во двор и подниматься. Дверь он открыл и прошел по изогнутому коридору, но там уже никого вообще не было, и только одна женщина что-то запырала.

— Закрыто, закрыто,— сказала она.— С Новым годом!

— Вас также,— пробормотал Алексей и стал спускаться. Спускался — и вдруг сзади кто-то напрыгнул, засмеялся — Ася!

— Вот и все! — говорила она.— Вот и все! — Она достала из сумки платье и показала ему.— Оно самое. Знаешь, как оно всем там понравилось! Даже оценщица просила меня его ей продать... Милый, все ждал?..

Алексей уже больше не волновался, постарался забыть все непонятное и вопросов не задавал. Когда они встретились, все уже стало нормальным...

— Ну а теперь я тебя посажу,— говорила Ася, когда они оказались на улице,— и ты поедешь домой.— На улице было уже совсем темно. «Рано темнеет,— подумал Алексей.— Самые длинные ночи в году сейчас».

— Я тебя посажу, и ты поедешь. Мне еще надо всего купить, и приготовить, и самой приготовиться. Ты мне будешь только мешать. Поезжай и надень свой серый костюм. Я хочу, чтобы ты был красивый...

Автобус отъезжал. Ася осталась на остановке с поднятой рукой. Алексей все смотрел в заднее стекло, Ася удалялась,

и он увидел какую-то темную фигуру, тень рядом с ней. «Собор,— подумал он,— или кто-то встал в очередь». Эта тень растревожила его.

Потом автобус подъезжал все ближе к дому, и что-то все больше сковывалось в Алексее и сжималось. Это стало еще сильнее, когда он сошел на своей остановке, и чем ближе подходил к дому, тем словно бы тяжелее становилось идти, и он шел все медленнее. Было как в детском кошмаре, страшно, но не понять, что страшно, и от этого страшнее. Вообще в последнее время ему трудно бывало возвращаться домой, вернее, труден был самый первый момент: открыть дверь, выдержать первые взгляды и приветствия, неизвестно, начнут ли что-нибудь выспрашивать и не придется ли врать... так стало, как появилась Ася. Но сегодня было и еще... сегодня было неприятнее, чем всегда, и Алексей не мог понять почему. Он даже знал, в чем дело, даже вспомнил, как увидел вдруг елку в маминой комнате... Вчера... но это было запихнуто где-то так далеко, подумать об этом было столь уже страшно, что ему легче было не понимать, в чем дело, чем думать об этом. Он старался не осознавать своего предчувствия, и это ему удавалось. Но то, что на этот раз страх был как-то сильнее, что это было уже предчувствие, а не только ощущение, следует отметить. Предчувствие чего-то непоправимого.

Дома же было хлопотно и тоже тепло. Елка в маминой комнате была уже убрана и при электрическом свете не была такой таинственной, как тогда, когда он увидел ее впервые. 31-е было действительно особенное число, потому что того холода и строгих лиц, которые с некоторого времени только и видел Алексей, не было. Мама ничего ему не сказала и не расспрашивала, была весела, и как будто забот у нее не было. Она поцеловала Алексея в лоб и вручила ему коробку. «Хоть ты и не заслужил»,— улыбаясь, сказала она. Алексей так обрадовался отсутствию холода в доме, что ему не надо сковываться и сжиматься, что вдруг снова почувствовал себя младше на полгода, то есть очень младше: младше на целую жизнь, младше на Асю. Понял, что очень любит маму и дом, обнял маму, расцеловал: мама как-то обмякла в его руках; он внезапно почувствовал, какая она маленькая, худенькая, и еще что-то одно поразило его в этом приливе нежности. Он понял вдруг, что вот уже полгода он не подходил так к маме, не обнимал ее и не целовал, это как-то отпало, исчезло — и это тоже была Ася. Он чувствовал неловкость в руках, когда сейчас вот обнимал маму. И еще его удивило, как же он не заметил этого раньше, ведь до Аси у них с мамой была такая любовь! И ведь, наверно, очень резко прервались вот эти нежности с мамой, так что мама не могла не заметить... Но он вот ни разу не почувствовал, что она это заметила. Он еще подумал, что все эти полгода ничего нет в его памяти из жизни дома, все — Ася, и это, наверно, жестоко и несправедливо с его стороны. Ему было и неловко, даже, может быть, стыдно перед мамой, но во всем этом приливе чувств прежде всего его не покидало чувство неловкости в руках, обнимавших маму, они просто были деревянные какие-то, чем-то стыдным и даже подлым. И еще неловче было оттого, что у мамы, он чувствовал это, такого не было. У мамы сейчас все было по-старому, как прежде, и, наверно, даже сильнее, как у соскучившегося человека. Все было так, и поэтому Алексей первый отстранился от мамы и тогда увидел такие счастливые и грустные глаза, что хоть плачь. Он вдруг ощутил такую беспомощность, что поспешил уйти к себе.

Он думал о том, что, конечно, никогда они с мамой не станут чужими, многое образуется и вернется, но... Ему стало очень и очень грустно, но это не было неприятно. И еще он думал о том, как странно мало вмещает в себя человек, впрочем, не так общо он думал, а как мало вмещает в себя о н , и винил себя за это. Вот приходит одно — и уже не хватает на другое. Жестокость такого открытия тем не менее его не поразила. Словно ощутил он в этом неизбежный порядок вещей.

И Алексей стал думать о другом. «Я хочу, чтобы ты был красивым», — сказала Ася. Он разделся и начал разминку. Он забросил спорт в последнее время, хотя раньше каждый день это было чуть ли не главным делом. Тело теперь сопротивлялось упражнению. Но в этом насилии он ощутил — словно бы вспомнил телом — радость. Когда разогнал кровь, то открыл форточку. Остро запахло снегом.

Разминку он делал по полной программе, когда-то им тщательно, одно упражнение к одному, разработанной. Тут были и совсем сложные, акробатические уже упражнения, и то, что он по-прежнему мог выполнять их, было для него вполне серьезным удовлетворением. В нем проснулось ощущение силы и покорности каждой мышцы, которое совсем еще недавно было чуть ли не главным ощущением его полноценности и равноправия, а может, даже и превосходства в этом мире. Это ликование тела, такое привычное раньше, было теперь особенно приятно.

Следующим номером должна была быть пробежка, и Алексей стал натягивать тренировочный костюм и кеды. Нарядившись, он взглянул на себя в зеркало: лицо его, осунувшееся, потемневшее, понравилось ему. Ноги, казалось, уже бежали — такое легкое и сильное было в них ощущение.

Но он не побежал, а зачем-то еще прошел по коридору на кухню. Пелагея доставала из духовки гуся, тетка готовила свою знаменитую новогоднюю шарлотку, мама, подслеповато щурясь, строгала огурцы, а Трефилов стоял спиной ко всем и курил, глядя в темное окно. Все обернулись к Алексею, только Трефилов не обернулся.

— Неужели побежишь? — сказала тетка, и тон ее был дружелюбен, хотя до сего дня она словно бы и не замечала его: так сердилась, что он огорчает маму. «Это тридцать первое...» — опять подумал Алексей. Пелагея, которой эти-то вещи были всегда безразличны, кроме разве любопытства, сейчас была просто сердита над гусем и посмотрела неодобрительно. Трефилов повернул голову на теткин голос, косым взглядом уследил Алексея, выпустил дымок и хмыкнул.

— Да, сбегая немножко, — сказал Алексей. Кухонный чад после разминки и открытой форточки был особенно неприятен — и он побежал.

С наслаждением вдыхал морозный воздух. Добежал по берегу Карповки до Ботанического сада и побежал вдоль ограды. И словно бы смотрел на себя со стороны, как он легко и красиво бежит. Тут нужны были девушки, чтобы это видеть. Но было пустынно. Здесь всегда бывало пустынно, но сейчас даже редких прогуливающих не было. «Все готовятся», — подумал Алексей. Было удивительно тихо, и фонари не горели. Морозец стоял небольшой, но снег поскрипывал под кедами — единственный звук, да еще шум дыхания. Было очень красиво, но Алексей уже ничего не видел, потому что тут уж сказалась его растренированность — ему стало тяжело. Сначала сбилось дыхание, потом и ноги отяжелели, стали чужими. Тогда, совер-

шенно теперь некстати, появились две девушки, захихикали: и в Новый год бегают... И Алексей перешел на шаг. Слюна была как клей. Где-то высоко в груди саднило и словно бы треснуло. Сердце стучало всюду.

Дома он старательно чистил зубы, выбривался. Затем был душ. Сначала горячий, потом все холоднее, и наконец, поухивая, Алексей выключал теплую воду и брызгался в ледяной. От него шел пар. Растершись, он накинул халат и поспешил одеваться. Все он делал обстоятельно, с чувством.

И когда все было кончено, он прошел в мамину комнату и взглянул в большое зеркало. Он стоял в нем в полный рост и остался собою доволен. Всегда после такого комплекса истязаний он казался себе красивым.

Такой вот он снова прошел на кухню, где его почти насильно накормили праздничным обедом. Есть он не хотел, но без обеда мама все равно бы его не отпустила.

И вот уже был полностью готов, а времени оставалось как раз на дорогу.

— Ну я пошел,— сказал он маме. Тут надо было добавить «С наступающим вас» или «Счастливо встретить», но почему-то, раз он покидал дом, сказать такое было неловко, вроде бы фальшиво, и он ничего не сказал.

— Ну, счастливо тебе встретить,— сказала мама и, привстав на цыпочки, поцеловала его в лоб.

— А ты разве не с нами? — спросила тетка. В тоне ее по-прежнему не было металла, но все-таки что-то она этим подчеркнула. Знала ведь и раньше, что он уходит.

— Да, мне надо с ребятами...— сказал Алексей. И все-таки выдавил из себя: — Счастливо вам встретить!

Все заулыбались, закивали, но в этом было уже какое-то усилие и скованность.

Алексей вышел из дому с тяжелым сердцем, чувствуя вину и сопротивляясь сознанию ее: ее нет на самом деле, что такого?

Но в автобусе, набитом и шумном, это прошло.

Когда он поднимался по лестнице, понял, что очень волнуется. Из-за этой самой «Астории»... Пошла туда Ася или все-таки не пошла? А если пошла, то вернулась уже или еще нет? Вряд ли вернулась... Он поднимался все медленнее, и ему все больше становилось не по себе. Он еще подумал, что вот до самой почти Асиной двери, до одиннадцати часов, он постарался ни разу об этом не подумать, целый день, нет, два он не допускал себя к мысли об «Астории». И когда он нажимал звонок, он уже очень волновался. Так было, впрочем, всегда — дома она или нет? — но сегодня было так, что можно считать, никогда он не волновался перед Асиной дверью до сего дня.

А открыла ему Ася.

Была она такая, что он ее просто никогда такой не видел. Сверкала. Смеялась, что-то быстро говорила, он не помнил что. Очевидно, радовалась ему. Подставила щеку. «Аккуратней», — сказала она. Не дала себя обнять: мять платье. А у Алексея и без предупреждений было такое чувство, что нельзя ни прикасаться, ни дышать на такую красоту. Он только и приложился, так, наверное, к иконам прикладываются... Щека была прохладной, с улицы. Вроде что-то мешало ему смотреть, он смотрел, как близирующий без очков, ничего вокруг не видел, словно помещались они с Асей в шарике света, а дальше было темно. И чувство вроде гордости распирало его: что ни говори,

а эта вот такая женщина принадлежит все-таки ему! Но тут было и чувство какой-то своей непричастности, случайности в этой красоте, словно только во сне могло произойти такое, а с ним — нет, он недостойн.

Ася усадила его на стул, чтоб не путался, ей еще салат доделать надо. Тогда он увидел на столе перед собой салат и не открытый еще майонез рядом... И все получалось так, что Ася его любит, потому что, если она и не ходила в «Асторию», то все ясно, а если и ходила и все-таки вернулась и так рано, то тем более. Он балдел от этого. Ася, повязав передник, месила салат. Она опускала в него руки и ворошила массу, и в этом была какая-то ужасная красота. «Ты сегодня красивый», — говорила Ася. Кровь бросалась в голову. «Что же ты мне ничего не скажешь о моей елке?» — говорила Ася. Тогда он увидел елку. Украшена она была всеми клипсами и бусами, какие он только знал у Аси, в основном же елка была зеленой, это было очень хорошо, что она была в целом зеленой.

Когда он увидел елку, то она сразу и запахла. Он балдел и от этого.

Салат был готов, а все остальное Алексей вдруг увидел на подоконнике, уже готовое. Ася очутилась с ним рядом без передника, и руки отмыты от салата. «Ты и сидишь? Какой ты послушный, прелесть! — чмокнула его в щеку. — Сейчас будем накрывать. Ты мне поможешь». Затем добежала до стенки, засмеялась. «Какой ты у меня смешной... и красивый», — говорила она.

И вдруг Алексей увидел, как меняется Асино лицо.

Взгляд ее проходил где-то в миллиметре от его щеки, она почти что на него смотрела, поэтому особенно неприятна была перемена. Так что не хотелось оборачиваться: там могла быть кошка величиной с тигра, или горилла величиной с дом, или... как во сне, в общем. Он обернулся: там были Нина и еще две или три девушки, их он видал и раньше, Нинины приятельницы. Приятельницы по какому-то кружку спорт-драма-мото-хор. Они входили, не здоровались, вешали свои пальто на крючки около двери. Как раз под громкоговорителем. Это о них он пел песню: «Парней так много холостых». Алексей посмотрел на часы, было без четверти двенадцать. Стал искать глазами Асю. Аси не было. И Нины тоже не было. «Здравствуйте», — сказал Алексей. Ответили, каждая отдельно, вполне вежливо, со вниманием, изучая. Вошли, словно бы вместе, Ася и Нина. Как-то очень отдельно вошли: в походке, в фигуре — досада на пространство, что оно — общее. И от дверей их как растолкнуло: Нина к подругам, Ася — куда же? — к Алексею — друг на друга и не посмотрели. «Там-там-там-там», — заговорили под вешалкой Нина с девушками. «Ну что?» — спросил Алексей. «А ну их к черту!» — с ненавистью сказала Ася. «Там-там-там», — говорили в углу. Две группировки в одной комнате, ничего общего друг с другом не имеют, не смотрят друг на друга. Словно для одной не существует другой. «Они что, совсем?» — спросил Алексей. «Выгнали их, выгнали из компании, — со злостью сказала Ася. — Крас-сотки... Не мудрено». Очень странно было наблюдать, как Нина с девушками не замечали их с Асей. Они уже разбрелись по комнате. Но существовали друг без друга и друг в друге, как мир и антимир, что ли.

Это было всерьез досадно — разрушение праздника. И не просто праздника — Нового года. И особенно этого. Для Алексея этот Новый год был таинство, и чудо, и осязаемое сча-

стве. Но то, что расстроилась Ася, испугало его в конечном счете больше, и он сказал: «Ну что же поделаешь... Раз такая несудьба. Их же не выгонишь... Дом не наш. Да и вообще не выгонишь. Надо хоть как-то встретить, чтоб по-человечески. Ну, не расстраивайся... Не в последний раз». Ася расстраивалась. «Пригласим их,— говорил Алексей,— тоже к столу, вместе и встретим. А что не вдвоем, несчастье, конечно, но хоть что-то надо спасти.— Он робко дотронулся до Асиного плеча, боясь: вспыхнет и достанется ему, Алексею,— вот уж не виноват! — Позовем, а? Они, конечно, дуры, что так ведут... Да и не они — Нинка. Девицы — еще ничего. Ну как?» Асино лицо успокоилось, вернее, опустело. «Ну что ж,— сказала она.— Уже и чокаться пора, обсуждать нечего».

«Девочки,— сказала она,— присоединяйтесь к нам, раз уж так вышло». Девочки смотрели на Нину. Нина ни на кого не смотрела. «Спасибо,— сказала она каким-то немислимым тоном.— Мы не напрашиваемся».— «Девочки, правда,— сказал Алексей,— не надо портить друг другу праздник, Нина. Ведь мы вас искренне приглашаем. Не можем же мы встречать, а вы в той же комнате — нет...» — «Мы никуда отсюда не уйдем!» — взвизгнула Нина. «Мозги у тебя набекрень...» — с издевательским сожалением сказала Ася. «А ты не оскорбляй, не оскорбляй, слышишь! — кричала Нина.— Скажи спасибо, что мы вас терпим. Тоже... нашла мамочкиного дурачка!» — «А ты не трогай! Не трогай! — Ася вылетела на середину.— Не твое. Тебе и такого не видать! Правильно вас выгнали, так и надо!!!» Нина, руки в бедра, бочком, короткими шажками, как в пляс, выходила на середину. Она была вылитая Лолита Торрес, так все говорили. «Проститутка! — кричала она.— Проститутка!» — «Не смей!» — выскочил Алексей. «А ты куда лезешь?! Тяпчик...» — раздельно, по слову сказала Нина. «Какой тяпчик?» — растерялся Алексей. «Отойди», — как-то недобро сказала Ася. «Там-там-там, барам», — говорили подруги. «Завидно?! — кричала Ася.— Выгнали?.. Завидно!» — «Деток учишь?!» — «Завидно! Завидно!» — «Не надо! Не надо!» — Алексей. «Татам-барам-тамтам!» — подруги. «Старая дева!» — Ася. «Трата-та-там, бум-дум», — подруги. «Бьет же! — закричал Алексей.— Двенадцать же!»

Все замолкли. Застыли. Действительно. Било. Трам-тамтам-там-барамтам-тамтам! — удивительно мелодично. Бам! Пауза. Бамм!..

«Ну их к черту! Ну их к черту! — подпрыгнула Ася и повлекла Алексея.— На! — сунула ему шампанское.— Скорей!» Придвинула к своей кровати табурет, набросила на него полотенце. Неожиданно много закусок поместилось на нем. Все это она проделала не разглядеть как быстро. Шампанское выстрелило. «Бамм!» — прозвучало в громкоговорителе. И пауза. Не просто пауза — дольше: тишина. «С Новым годом, милый!» — сказала Ася. «С Новым годом!» «Там-там-тим-там-там-там», — радио заиграло гимн. Выпили: Ася села на кровать так, чтобы спиной к Нине с подругами. «Садись,— сказала Ася.— Не обращай на них внимания».— «Я и не обращаю», — сказал Алексей. «Вот и хорошо, вот и хорошо!..» — Ася всхлипнула. «Да что ты! Что ты!» — разволновался Алексей. «Ничего... Это сейчас,— сказала Ася.— Ты ее не слушай, что она говорила...» — улыбнулась сквозь слезы, жалко так, несчастно, что Алексей чуть не заревел. «Да я разве... разве я когда-нибудь слушаю!» — с жаром сказал Алексей. «Салат мой ешь... Давай без тарелок, а? Прямо ешь. Ведь

вкусный?.. Правда, а?» — «Очень!» — «Правда, милый? Нет, правда, вкусный?!» — голос у Аси подрагивал, она собиралась заплакать. Алексей тоже еле сдерживался, все-таки глаза у него подернулись: видел он хуже. У них вдруг такая нежность началась друг к другу, что и от этого можно было плакать. «Ничего, ничего», — говорил он. «Мы еще проживем, а?» — говорила Ася. «Мы — счастливые», — говорила Ася. — Ты не обращай на них внимания». Не обращать было трудно. Но он все-таки сидел к ним лицом, и они слишком были видны, главным образом Нина. Она ходила от стены к стене, как тигрица. Глаза ее, так сказать, горели. Ходила и нервно курила. «И курить-то не умеет, — вдруг сказала Ася. — Дай мне». Закурили все. Ася сидела к ним спиной, но Алексей чувствовал, как она этой спиной, может, еще больше, чем он, видит и мучится. Нина все ходила. Подруги стояли скорбной композицией. Три грации.

«Тоже странно, — вдруг подумал Алексей. — Сейчас, быть может, всем скверно, от себя скверно. Но если что-то попробовать, примирить или извинить, то будет еще хуже. А после этого уже еще больше будет каждому от себя скверно...»

Все понемногу успокаивались. Но уютнее от этого не становилось. Скорее наоборот. Каждый чего-то друг другу не доказал или не доругался, и от этого такое напряжение повисло в воздухе, словно мощное силовое поле, телепатия, «полепси», сказал себе Алексей. И еще подумал: «Вот ведь и ссора и крик затягивались из-за того, что каждый, как далеко бы ни падал, что бы ни говорил, все-таки самого страшного оскорбления, которое у каждого вертелось на кончике, сказать не смог и самого худшего поступка сделать тоже. Вот Нина, она удивительно хотела сказать: «Убирайтесь вон из моего дома!» — а как ни расходилась, не смогла».

Кусок не лез в горло. Алексей вдруг посмотрел со стороны. Даже Асю он увидел со стороны, и она тотчас отдалилась. В буквальном смысле как-то видел он ее издалека, хотя сидела она рядом. Это было мерзкое чувство. Хотя появилось спокойствие. Но тут был холод, равнодушие — скользкая змея.казалось, при чем тут эта женщина, с ним рядом? Сидят на одной постели, а откуда это? Почему эта комната и в ней еще совсем уж незнакомые люди? О чем это они говорили, кричали, переживали, ссорились из-за чего? Чепуха какая-то. Алексею стало не по себе, даже страшновато, он не хотел так видеть. Это как в оптическом фокусе в популярном журнале: то видишь черное — и тогда одна фигура, то белое — и фигура совсем другая. Смотришь то так, то так, словно там переключатель какой в глазу, ручка, как у телевизора: чик-чик. Это в первый раз случилось, что он посмотрел на Асю со стороны — и испугался, хотя так уж точно не сознавал: вдруг с этого раза начнется переключение — то так, то так. Он не хотел в себе этого зрания не по чувству. Может, оно и умнее, но от него исчезает счастье — это уже знание какое-то — не хотелось этого знания. Все от него становилось чужим.

Ася встала и подошла к Нине. Они пошептались о чем-то от всех в стороне. Шепот становился громче, перерастал. Уже «там-там-там» было слышно из их угла. Но что-то их вдруг остановило, шум прекратился внезапно, не достигнув того, чего уже ожидал Алексей, — повторения сцены, и они разошлись. Ася подошла к нему, кипя. Шепот, злой и непонятный, почти свист — это было то, что хотела бы сказать Ася Нине, но сдержалась. Алексей снова видел только Асю, теперь не со

стороны — это было облегчение, что не со стороны, и он говорил: ну что она так переживает, не надо, плюнь... «Хоть на лестнице! — сказала Ася (слова вроде бы ему, а злость их — Нине). — Хоть на улице!» У Алексея затрепетало в горле, сдавило, он не мог бы сейчас выговорить ни слова. Ася метнулась к двери, прихватив со спинки кровати свой вечный халатик... и словно бы тут же, только и успел Алексей обвести растерянно остальных участников, оказалась в халатике, а зеленое платье аккуратно развешивала на спинке, покрывала полотенцем. Что-то шептала она при этом яростное, но в то же время тщательно расправляла складки на зеленом платье — это несоответствие Алексей почему-то отметил и тогда же подумал, что то, что он это заметил, — тоже несоответствие его взволнованному состоянию, в сущности такое же, как у Аси с ее платьем. А она была уже в пальто, руки ее метались — не разглядеть, и туфли-гвоздики были аккуратно сложены в коробку, а на ногах — без каблуков, уличные. «Одевайся», — бросила она Алексею и складывала в сумку вино, конфеты и пирожные... Выпрямилась. Алексей увидел тогда ее лицо, несколько покрасневшее оттого, что она перед тем наклонялась, злое и несчастное. Он хотел что-то ей сейчас сказать, чтобы это ей помогло, но никак не знал что. Те слова, что приходили, могли, ему казалось, еще больше разозлить Асю. Этого он, конечно, не хотел и мучился от своей неумелости и бестолковости: даже вот и сказать не может. Ася же посмотрела на Алексея, кровь отливала от ее лица, лицо белело, и, словно бы вместе с кровью, глядя на Алексея, исчезали раздражение и злость, лицо стало спокойным, ласковым и грустным. «Я нехорошо себя вела?.. — сказала Ася. — Грубо? Извини, я не хотела бы быть некрасивой перед тобой... Ты не смотри и не слушай, когда я так. Мне потом очень плохо, что ты видел меня такой...» — «Что ты, Ася! Что ты! — сказал Алексей. — Ты права... и все понятно». — «Ну вот и хорошо, а ты забудь, милый, ты ничего не видел... на! — Она сунула ему сумку со снедью. — Пусть подавятся!» И, не оборачиваясь, они вышли из комнаты.

Эта лестница была пуста, темна и безлюдна, скамейка, на которой они сидели, уникальная скамейка Асиной лестницы, под огромным стрельчатым окном, только сюда и доходил отсвет луны, что ли, или снега на дворе, или окон, где праздновали, этот отсвет чуть-чуть (есть он, нет его?), чуть дрожащая неуловимая геометрия рам на полу, на стенке, на Асином лице, удивительном, необыкновенном. «Ах ты, олененок мой! Глазки мои... Какие глаза!» — шептала Ася, он растворялся и падал, нестрашно, сладко и очень страшно, дико, лицо Асино все к нему, в нем, о нем, а его, Алексея, и нет вовсе, он исчез, растаял... Эта лестница, вдруг, казалось, полная гулких шагов и голосов, сердце вспархивало, как испуганная птица, и медленно оседало, опадало на место, там шли люди, много людей по лестнице, поднимались к ним, за ними. «Вот они!» — кричал главный, брали за руки и вели куда-то, на казнь, на Голгофу, а они все равно были счастливы... Эта лестница, полная шорохов и отсутствия, никуда не деться, прикован, Асино лицо сверху, снизу — всюду.

Он был пуст, буквально ощущал себя как оболочку, из него словно вынули мозжечок, и ему казалось, что он растекается, расползается, а не идет... пьян, не пьян... снег падал откуда-то легкими распадающимися клочьями, и луны не было, и фонари не горели, но свет — его не было, но он шел потихоньку

отовсюду, как снег, вместе со снегом, тихо очень было, и они молчали — шли по своему саду.

...Вдруг он понял, что идет уже один. Было темно, снег летел со всех сторон, исчезло ощущение времени и пространства. Где он? Куда идет? Почему? Это Марсово поле. Он идет домой. Потому что они с Асей разошлись по домам. Он ощутил, как слепая маска радости, застывшая на его лице, стала распадаться. Он вроде бы очнулся. Не мог вспомнить... Ася сказала: «Расстанемся сейчас, чтобы осталось так же хорошо, как было». Вдруг почему-то вспомнилось, как выбегали Ася с Ниной из комнаты, как шептались несколько раз в комнате... Неужели его разыграли, и они сейчас все вместе, и... — он словно бы замер над пропастью, одна нога уже в пустоте. Стало страшно. Он прогнал.

Постарался вспомнить другое. Был прекрасный сад, и они там были вдвоем. Они сидели на скамейке, и перед ними была ровная поверхность снега, даже странно — без следов. Это, впрочем, не странно, потому что они пришли к скамейке не по дорожке, а сзади, проваливаясь по снегу. Снег лежал на дорожке так ровно, что неощутима была его поверхность; словно он пророс из земли, как белая трава: нежен и легок, как плесень. Но главное в саду были, конечно, деревья. И глядя на темные, словно теплые стволы и выше — на ветви, ветки, веточки, видели они, что деревья не просто заиндевели, или посыпаны снегом, или снег лежит на ветках, — ветки словно сами были из снега, толстые до странности, похожие на белые кораллы. Снег на ветвях повторял все их изгибы и линии, всю сложнейшую их абстракцию, и деревья были словно повторены снегом. Они уже не походили на деревья, а сами были как огромные невиданные кристаллы, кристаллические решетки. Даже не так: кристаллы эти были обыкновенны по своим размерам, просто они двое были необыкновенно малы, крохотны, растворены, их не было. Прекрасное дно морское... И вот они сидели — перед ними была дорожка, словно поросшая снегом, будто он пророс у них на глазах, а они тут сидели всегда, как всегда стояли тут эти огромные, уже очень старые деревья с темными стволами и ветвями, повторенными снегом.

Потом, когда тишина стала уходить из них, они пили и ели и что-то без конца говорили, неважно что и не запомнить — ощущение было прекрасным. В этом было как бы сознание того, что этот сад приснится через десять, двадцать, тыщу лет. Даже кому-нибудь другому приснится. Этот сад как-то на глазах стал прошлым. По всему этого сада не было вообще, он случился с ними — счастье, конечно, но лучше не задумываться об этом.

В общем-то, они очень недолго просидели в своем саду. Это теперь понял Алексей, взглянув на часы. Совсем даже пустяки. И потом как-то растались, не вспомнить как. Ася вдруг побежала. И он ее не провожал... Тут опять начиналась пропасть. Он не стал задумываться над ней.

Он шел домой медленно, не думая. Вспомнив сад, забыв пропасть, снова один, он опять стал сам себе неощутим, растворен — шел ли, плыл, парил, что ли, — и так в бездумье, какой-то одинаковый со снегом, медленно летевшим то ли вверх, то ли вниз, то ли во всех направлениях, он очутился на своей улице. Справа был его дом, слева — Ботанический сад. Он испытывал нежность к саду, ему не хотелось возвращаться домой, то же предчувствие непоправимого снова надвинулось

на него — заставляло его сжиматься, не хотеть идти, да и было еще рано. Он шел вдоль ограды, выходил по Карповке к Невке, по этому пути он бежал только что, всего несколько часов прошло, сотен лет, тысяч... все было другим.

«А что произошло дома? — подумал он. — За эти тыщи лет?»

Все как прежде... Старики выпили по две рюмки, порозовели, повспоминали, оживились было. И устали. Устали и разошлись. И теперь спят.

И праздник прошел, как в прошлом году и как десять лет назад. Праздник — в прошлом. Устой...

«А что, если они обнаружили?..» — снова подумал он и поспешно отогнал эту мысль.

Он представил себе заспанную тетку, или бессонного Трефилова, или маму, открывающих ему дверь, укоризненный взгляд... И даже представления об этом взгляде не мог вынести.

«Лучше спать на улице!..» — подумал он сердито и радостно. И он перелез через ограду — это место он помнил с детства: дерево низко наклонилось к земле и год за годом все падало и продавило ограду — перелезть тут не стоило труда.

В саду он не боялся истоптать снег, а шел, как на лыжах, оставляя длинный непрерывный след — две колеи. Он соскребал снег местами до земли, и след чернел. Перед ним затемнело что-то большое, высокое и округлое вверху. Он передумал всякое, это представлялось ему даже огромной головой, хотя он уже понимал, что это скирда, или стог, или копна — как там называется... Он попытался забраться наверх, запыхался, снег таял в рукавах и за шиворотом — это было глупо: даже пытаться забраться вверх по отвесному сену. Он обошел кругом и в одном месте обнаружил как бы выступ, площадку — сено оползло с одного бока. Площадка была невысоко, и на нее он сумел забраться. Там было много снега, и пока он раскидал его, почувствовал, что промокли ноги и рукава, но было тепло, разве что не таяло. Разворошив снег, он очистился сам и стал закапываться в сено. Этот необыкновенный запах сена, который он разбередил, разбудил среди зимы, и запах снега, и запах мокрых варежек!.. Он вспомнил этот запах, хотя никогда в своей жизни даже не был в деревне и на сене никогда не спал. Он вспомнил, вернее, ощутил — ощущение было безусловным и точным, — что уже было так когда-то: и этот стог, и зима, и такие же стояли деревья, и он, маленький мальчик с незнакомым лицом... Это было словно бы в детстве, но не в этом, а в другом — в одной из его прошлых жизней. Он был тогда не собой теперешним, а другим, совсем другим человеком. И тогда это было с ним, этот запах... в той, другой жизни. Он улегся наконец, стал натягивать на себя сено, вытаскивая по бокам пучки и уже засыпая... Некоторое время он лежал так на спине и глядел вверх: там были ветви дерева, и ветви другого дерева, и между ними, белыми, — пространство; потом достал платок, он даже сердился, но платок он достал, накрыл им лицо и на ощупь позакидал себя еще сеном.

Ему показалось, что он только и успел, что закрыть глаза, и сразу провалился куда-то, отчего и очнулся в испуге, только закрыл и открыл глаза, как моргнул. Он ничего не видел и не понимал, ему было душно, влажно, что-то навалилось на него, пока он закрывал глаза, а теперь, когда открыл, не исчезло, не пропало, как полагается сну. Он не ощущал своего тела, лица, рук. Он вскрикнул, слабо получилось, негромко — судорожно вздернул руку, словно был в неуверенности, подчинится ли рука ему, и смахнул с лица то, от чего было душно и жутко...

платок. Он увидел перед собой белое небо, все в ветвях больших деревьев, и в этом белом небе, прямо над ним, летела огромная черная ворона, замещающая собой белое небо, летела и кричала, будто повторяла его собственный вскрик, летела, все летела и кричала резко, пронзительно и тревожно.

ПЕРВОГО ЯНВАРЯ

Ася тогда сказала, в саду, что завтра они поедут за город. Ей так тогда захотелось за город, глядя на деревья. И поедут они в Сестрорецк, у нее там подруга живет, подруга много старше, но прекрасный человек. Она Асю сколько раз звала, а та все никак не могла собраться. А завтра они поедут точно. На лыжах или так погуляют, а вечером еще немножко встретят, с подружкой. У нее целая квартира...

Алексей проснулся поздно. То ли был вообще темный день, то ли было так поздно, что уже темнело, — не разобрать. Шевелиться не хотелось — так и лежал, как проснулся. То прекрасное, что было вчера, сразу вспомнилось ему, но как-то потеряло свою остроту, было как бы очень давно. Так же трудно вспомнить, как сон, подумал Алексей. Ему и хотелось вспомнить это так же остро, как это было, но не удавалось. Он только все больше просыпался. Лежа в этой полутемной комнате, он вдруг почувствовал, как истекает время, он вот лежит, не шевелится, а оно истекает, не останавливается. Это не было страшно, такое ощущение — просто тупая неизбежность, порядок вещей, так есть. Но то, что то же время унесло вчерашний день, было нелепо. И он вдруг вспомнил, что тогда, в саду, в нем проклевывалось и даже отвлекало (но он тогда отгонял) чувство, что не только вот он живет самой полной жизнью, какой когда-либо жил, но и время все уносит от него эту жизнь. Так он точно не думал, но какое-то подобное ощущение было. И правильно делал, подумал он, что гнал. Это уже не жизнь, такое ощущение...

И когда он вспомнил это, то вспомнил и то, что они сегодня должны ехать за город. А ведь уже поздно, темно, как вечером... Может, Ася уже звонила? Может, поехала одна? Тогда он вспомнил, и это было удивительно резко, словно только что увидено...

Он услышал памятью крик вороны и увидел как бы с ее полета вершины деревьев и себя, лежащего в стогу, неподвижного, лицом вверх, раскинув руки, где-то глубоко внизу, и белый платок в одной руке. Это разбудило его совсем.

Он сразу сел на кровати, и это отдалось болью во всем теле. Болело совершенно все.

Сначала надо было узнать, сколько времени. Прощлепал по комнате — удивительно все-таки все болело! — часы показывали полседьмого, стояли. Поспешно одеваясь, он представлял, как все уже давно встали и бродят по коридору из комнат в кухню, но никого в коридоре не встретил, и вообще было подозрительно тихо. По телефону набрал время — и чертыхнулся: не слишком поздно — слишком рано было, всего полдесятого, потому и темно. Но то, что Ася еще спит и, конечно, не звонила, его успокоило.

«Как же я так мало спал?» — удивился он.

Спать тем не менее не хотелось. Он попытался хоть немного размять деревянное, нывшее тело; принял душ. Было всего десять часов, и те же тишина и темнота по всей квартире.

Он нырнул обратно в постель, устроился с «Моби Диком». Это была замечательная книга. Все, что он читал, было так осязаемо, просто и точно; в то же время так немучительно, так легко и умно, а прочел он не более ста страниц от начала, все так медленно, но не нудно разворачивалось, собственно, ничего еще и не развернулось,— он наслаждался книгой. Он как раз читал, как два внезапно обретенных друга лежат ночью в одной постели, не спят и задушевно беседуют, и прочел дальше:

«Нам было очень хорошо и уютно, тем более что на улице стоял мороз, да и не только на улице, но и в комнате, ведь камин-то был нетоплен. Я говорю «тем более», потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остается в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничто не существует само по себе. Если вы льстите себя мыслью, что вам хорошо и удобно — всему вашему телу, с ног до головы, и притом уже давно, то, значит, вам уже больше не хорошо и не удобно. Но если у вас, как у нас с Квикегом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить; теплая спальня — это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения — не иметь между собой и своим теплом, с одной стороны, и холодом внешнего мира — с другой, ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите точно единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла».

Тут Алексей вскочил, открыл окно и снова нырнул в постель и устроился в ней сидеть, подтянув колени к носу, так сидел и больше «Моби Дика» не читал.

В таком положении он курил, и для полноты образа надо было еще что-то такое умное подумать, думать же у него сейчас не получалось, но все равно было хорошо.

Потом и кое-какая дрема приходила к нему, он закрывал глаза, а потом открывал, чувствовал, как тепло ему всему, а нос стыл, и действительно все это вместе было не так уж плохо, и он снова закрывал глаза.

— Черт знает что! Черт знает что! — Мама захлопывала окно.— Что ты еще учинил?

— Единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла,— сказал Алексей. Он давно так легко не открывал глаза, это было радостно — открыть их и сразу ясно увидеть мир. Это было каникулярное детство, это был очевидный праздник.

— Ты не простудился? — уже справившись с окном, говорила мама.— Зачем ты это устроил? Выстудил всю квартиру...

— Теплая постель,— сказал Алексей,— это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами.

— Что за чепуху ты несешь, Алеша...

— Все в порядке, мама. С Новым годом!

Квартира оживала. Притихшие после праздника, на кухне появлялись и тетка и Трефилов. Завтракали в кухне роскошными остатками. «Остатки сладки»,— приговаривали они. Света по какому-то общему ощущению нигде не зажигали, а так и шевелились медленно и сонно в сумраке; день был темный и незаметно переходил в вечер. Ася же не звонила. «Должна бы уже и проснуться»,— думал Алексей. Но она не звонила. Он уже

выслушал рассказы родственников о вчерашнем празднике и сам рассказал, как было: мол, весело и хорошо. Перечислил по маминому настоянию всех ребят, что с ним были, рассказал, какие у них были девушки и что ели и пили. Трудность заключалась в одном: запомнить, что он рассказал, чтобы после не путаться. Кажется, запомнил. Он уже ругал себя, как всегда, что не пошел к Асе без звонка, но вскоре понял, что идти было бы нелепо: неизвестно, что там после вчерашнего за обстановка.

Ася позвонила в четвертом часу. «Никуда мы, конечно, так поздно не поедем», — думал Алексей.

— Ну, мы едем или не едем? — сказала Ася. Она была весела, возбуждена и очень хотела ехать.

Они встретились на перроне. Ася была закутанная, замонтанная и какая-то новая.

— Вот брюки у Нинки стащила! — говорила она и смеялась. — Идут?

— Идут, — говорил Алексей и тоже смеялся. — А как там обстановочка?

— Да никак. А ты знаешь, что они следом за нами тоже ушли!

— Не-ет.

— Мы могли бы вернуться.

Потом они вспомнили и представляли все в лицах. И Нинку, и ее подруг, и даже себя. И очень смеялись.

Потом ехали в электричке. За окном было совсем темно. В нем можно было уже отражаться. Они и отражались, Алексей и Ася. Никого, кроме них, в вагоне не было. Пока они еще ехали по городу, были видны огни фонарей и окон домов и еще такие синенькие и красные огоньки по путям, таинственные и веселые. Радиоузел заиграл какой-то замызганный вальс. А вагон, ярко освещенный изнутри, нес в стеклах и словно бы за ними отражение самого себя — своих скамеек, плафонов и пассажиров, так что там было еще по призрачному вагону слева и справа, и отражение Алексея с Асей тоже существовало отдельной жизнью в призрачном вагоне сбоку поезда. Играли вальс, поезд делал поворот, разворачивались и проносились городские огни, и Алексею показалось, что их вагон, и они сами, и призрачные вагоны с отражениями его и Аси, и фонари, и окна домов — все это вместе танцует под замызганный медленный вальс: разворачивается, покачивается, удаляется.

А когда выехали из города, то в окнах не осталось ничего, кроме отражения, — черно до самой станции, где свет, платформа, один или двое ожидающих — и снова темно. Вчерашний день сказывался, все сладко ныло, они дремали, Ася на его плече, говорили мало. Но было хорошо, и ехать бы так долго.

Когда они приехали, то даже не хотелось выходить, терять надреманное тепло. А когда вышли, и начавшийся к вечеру морозец обхватил их, и они вдохнули чистый, негородской воздух, то обрадовались, вся вялость ушла, что все-таки молодцы, что выбрались, и как же они без загорода живут месяцами, другое ведь дело!..

Но подруги не оказалось, она уехала в город. Суеты же в них сегодня не могло быть, и поэтому они даже не огорчились, а поехали — это Алексей сообразил — в Лисий Нос, там жил приятель Алексея. Но и приятеля не оказалось. Но они опять же не огорчились, а побродили, выпили свою бутылку на скамейке у залива, под большой сосной. Залива в ночи видно не было, там был провал, но они подышали заливом и потихоньку двинулись к электричке. В вагоне их совсем разморило, и они просспали до

самого Ленинграда. И расстались, Алексей даже провожать не пошел — время позднее, а завтра рано вставать.

У самого дома Алексей опять замешкался, вдруг совершенно точно показалось, что дома что-то случилось за это время, пока его не было, что теперь уже там знают; что знают — он не позволил себе произнести даже мысленно.

Дома оказалось, что из Ташкента приехал отец.

ВТОРОГО ЯНВАРЯ

В этот день ему везло. Дело, возможно, было в том, что суета, которая исчезла в нем на Новый год, все не появлялась. Ему как-то безразлично было, удастся ли то или иное школярское его дело, и все складывалось как-то само собой и как нельзя лучше. Да и институт был сегодня не суетный, малолюдный, полутемный. Никто никуда не спешил, и те, кто вынужден был сегодня появиться, словно бы еще не растеряли праздника, жили тихо. С самого начала оказалось, что пришел он кстати и к самому моменту, когда опять начали переписывать контрольную. Народу было совсем немного, и преподаватель был всего один, та самая Большинцова, красивая женщина. Все было не так торжественно, Большинцова без конца выходила, и Алексей, не спеша и будто не трудясь, даже не заметив, как это у него получилось, все не то списал, не то сам решил. Вышло чисто.

После этого ему уже все удавалось. То есть, куда бы он ни приходил, там оказывался именно тот, кто ему был нужен, все эти ученические заторы и заторчики разрешались быстро и как бы сами собой. Он все уладил и достал какие-то конспекты, которые так нужны ему были. Все так шло, и, когда вдруг что-то, совсем уже мелочь, сорвалось, кого-то там не было, что ли, или только что вышел, он понял, что грех дальше испытывать судьбу, на сегодня хватит, а за первой неудачей может, как всегда, последовать следующая и следующая, и начнется отвратительная такая цепочка, и это уж факт, не стоит портить день... И, не потерпев поражения, храня в себе поразительную сегодняшнюю легкость удачи, он покинул институт.

И все дальше было, будто закона, по которому хлеб переворачивается маслом вниз, не существовало. Для Алексея это была редкость, он всегда чувствовал особое к себе пристрастие того демона, что этим законом ведал, не выходил, так сказать, из-под тени его черного крыла. А тут подходили автобусы, и он подходил тут же, а автобус оказывался как раз тот. И в кармане у него оказалось пять копеек, и он не страдал с кассой и сдачей, и место было у окна. «Все уж как начнется, так и пойдет, пойдет!.. — славно думал Алексей. — Только надо все время чувствовать и самому не обрывать». Что надо чувствовать и что не обрывать, спроси его, он и не сказал бы.

Съездил на всякий случай к Асе, но ее не было дома, как она и предупреждала вчера: ей надо было на Лесной насчет работы. Поэтому он только убедился, что ее нет, но не расстроился, то есть настроения не растерял, а наоборот, необычайно удачно сразу попал в кино, и сразу начиналось, и картина его не огорчила.

Уже стемнело, когда он поднимался к себе по лестнице, с легким сердцем входил домой. Судя по вешалке, все уже пришли с работы, но и это его не удручило. Сегодня был тот редкий день, когда он мог рассчитывать на теплоту и равноправие, стоит только ему тем бодрым голосом, который у него сегодня будет

без тени лжи, рассказать маме о своих успехах и добавить живых подробностей. Не надо будет видеть каменных, напряженных лиц, суровых молчаний, все будет естественно наконец — патриархальная картина.

Так, надо было на обычное мамино нейтральное «ну, как?» все сразу изложить, и тогда она отгадает.

Раздевшись, он прямо прошел в мамину комнату. Здесь было темно, и только зеленела линза телевизора.

И край сухих голов
Забыл произрастание. —

с чувством читал зеленый строгий человек.

У телевизора сидели две темные тени, папа и мама, и Алексей сказал им голосом хорошо потрудившегося человека:

— Здравствуйте!

— Здравствуй, Алеша,— тихо ответили родители.

Он присел на свободный стул. Так сразу начать об институте было бы неестественно, тут надо было выдержать, потому что всегда он говорит об институте как бы неохотно, через силу, потому что, как правило, приходится темнить, а это все-таки неприятно, так вот и сегодня надо было показать, что это только манера у него такая и не зависит от того, как успехи,— просто не любит об институте говорить, и все. Но вопроса, на который он так охотно бы сегодня ответил, не было. Родители молча и очень внимательно смотрели телевизор.

Бормотанье, прозябанье
и нелепая дыра...

— Что это он читает? — все еще бодрым голосом спросил Алексей.

Мама прикрутила ручку, но совсем не выключила: исчез звук, но изображение осталось.

— Нам надо с тобой поговорить, Алеша,— сказала она ровным и тихим голосом. Папа потупился.

«Все. Это конец»,— сказал себе Алексей, поняв, что сейчас произойдет. Начиная кошмар. Страшнее быть уже не могло.

Мама говорила. Неверное, расплывающееся ощущение поселялось в Алексее. Ему казалось: это не с ним и не о нем происходит — не происходит, снится — не снится. Все расплзлось перед ним, как сырая промокашка... И этот неопределенный разрыв, ворсинки его — от этого мешался рассудок, мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора, рот ее все говорил что-то, а потом и не говорил, а только все шевелился, словно у мамы выключили звук, но не выключили изображения. Лицо ее тогда удалялось куда-то в бесконечность, становилось крохотным, неразличимым, и оттуда, издалека, что-то говорила ему мама. Отец сидел неслышно, как мышь. Какой-то другой, тоже зеленый, человек плавал в линзе, как в аквариуме. Алексей отклонил голову, линза искривилась, а человек сократился, искажился и заплывал там, как лягушка. Пузырьки в линзе увеличивались и играли зелеными краями. Мамино лицо снова приблизилось; это можно было уже проделывать, как фокус,— и удалилось. В аквариуме плавали уродливые человеко-рыбы. Разевали рты, как им и положено, молча. И все в этой комнате, едва освещенной зеленоватым водяным светом... Алексею показалось, что все они — странное такое семейство — погрузились в какую-то влагу и там шевелятся и существуют, на дне комнаты-банки. В аквариуме линзы заплывали водоросли, все побежало, побежало. Вдруг приостановилось: какое-то существо

медленно опустилось на дно и там исчезло. И тотчас другое, точно такое же, отделилось от верхнего края и, разевая рот и делая плавательные движения руками, тихо опустилось на дно — там скрылось. И опять точно такое же, сначала ноги и позже голова, выплыло, погружаясь в центр аквариума. Алексей изменял положение головы: существа начинали кривляться, уродовались, ломались... Что-то вспыхнуло, и побежала рябь. Мамино лицо возвратилось в исходное положение, звук у нее вдруг включился. «Понял? — услышал Алексей. — Сейчас пойдешь и сделаешь, как я сказала. Понял?» — «Да», — хотел выговорить он и, как в страшном сне, почему-то не мог: раскрыл только рот, тот с трудом разлепился, сухой, и что-то в нем скрипнуло. Мама сделала отцу знак, и отец, легко и не глядя в сторону Алексея, как бы и не прошел, медленно проплыл комнату, там, в темноте, порылся, будто в иле, и приплыл, держа три зеленые бумажки.

Алексей уже ничего не сознавал. Был он словно выключен, мертв. В голове легко и высоко звенело. Ему казалось, что он не ходит, а летает. И что вообще всего того, что есть, нет на самом деле. Какую-то даже легкость ощущал он.

...Теткина комната показалась ему с телевизор. Из-под зеленой фарфоровой тарелки белый свет ложился только в центр исчезавшего в темноте стола, на бумаги. Тетка обратилась к Алексею лицом и как-то отъехала вместе с креслом от стола в тень. Звук отодвигаемого кресла Алексей не услышал, словно бы тетка на кресле была дверцей шкафа, и дверца раскрылась. Лицо у тетки было ярко-зеленое от абажура, испуганное, и она как-то сжалась.

— Вот, я у вас украл, — говорил Алексей мерным голосом, — вот.

Он клал ей на стол две зеленые бумажки. Теткино лицо искривлялось, по нему побежала рябь, и жалобно, тонко она проговорила:

— Ну что ты... что ты! Да ты садись!.. Посиди...

...У Трефилова были зажжены абсолютно все лампы вплоть до ночника, а сам он стоял лицом в черное окно и курил.

— Вот... — начал Алексей.

— Положи на стол, — прервал его Трефилов, не оборачиваясь. Алексей увидел, как уши и шея Трефилова стали бурыми от крови, и тут же они, и уши и шея, исчезли в бешеных клубках дыма.

У себя в комнате он не зажигал света. Надо было как можно плотнее закрыть двери. Стараясь неслышно, он брался обеими руками за ручку и тянул, сначала слегка, потом все сильнее и и изо всех сил, даже упирался ногой в косяк, пока не затрещала ручка. Замков ведь в квартире не было...

В темноте же он медленно разделся, старательно раскладывая одежду по стулу, чего обычно не делал. Сейчас, стоя босиком на полу, он подносил брюки к самым глазам — отыскивал складку, аккуратно вывешивал их на спинку. Ботинки — пятки вместе, носки врозь — поставил чуть ближе к ногам кровати, а не посередине. И лег.

Он лежал, сгруппировавшись, как в сальто, дышал в колени, пытаясь согреться. И вдруг не то что комната, не такая уж большая, но даже кровать показалась ему огромной. «Какие мы все маленькие, — повторял он про себя. — Какие мы все маленькие...» — «Как ты смешно говоришь «маленький»! — смеялась

Ася.— Майенький... Милый мой!» — «В-вот! Вот!!!» — говорил Алексей и швырял деньги пачками, п-пачками!!! Они разлетались веером и медленно, как стая маятников, туда-сюда каждый листок, опускались и, вздрогнув, ложились на пол, а он все швырял, швырял их к ногам. К их ногам... Они стояли, жалкие, понурые, такие старые... Ему становилось вдруг их мучительно, до слез жалко — и он прощал их, он — прощал их.

Ему представлялось, что поставлен огромный спектакль, потребовавший усилий всего мира, и он — главное действующее лицо. Будто он принц на самом деле, будущий властитель всей земли. Все это знают о нем, и все молчат и продолжают разыгрывать этот спектакль для него. Словно бы надо воспитать его в неведении в этом спектакле и потом, в какой-то момент, объявить ему, кто же он на самом деле. Этот далекий финал, немая сцена — и все оказываются твоими слугами, подчиненными... И так далеко зашли их рабство и покорность ему, их властителя, что они сделали невозможное — ничем не выдали себя, выдержали чудовищный спектакль, целую свою жизнь. В этом представлении больше всего удивляло его, как же они выдерживают. Ведь и прохожие и незнакомые ходят мимо и узнают его, но не перешептываются, не показывают вида; будто они действительно не знают его.

Неестественность и громоздкость этого надуманного спектакля, где целые материки, страны и народы существуют всего лишь как декорации на таком далеком краю сцены, что их никто и не видит из главных действующих лиц, и только для того, чтобы в какой-то момент многолетнего спектакля быть вскользь упомянутыми, что они есть и существуют где-то, в одной из реплик 1001-го персонажа,— показались ему странными и жуткими. Перевернутость жизни, где он, властитель, больше всех невластен и каждый может унижить его, не боясь расплаты, ибо единственный закон для них — это следование роли... такая уж перевернутость, где даже преданность ему должна быть выражена неумолимо сыгранной жестокостью к нему же, казалась нелепой, почти смешной. А то, что актеры знают и другую жизнь, кроме спектакля, и только он, один-одинокий он, должен существовать в этом спектакле как в жизни, было несправедливо. Потому что он ведь разгадал обман... Безумное одиночество, обманутость, единственность в мире сладко ныли в Алексее. И он уже всех жалел...

И родители, бедняги, просто им поручили главные роли; они лучше других подходили к уже написанной кем-то заранее пьесе, инструменты всего лишь. Им всех хуже, им больше других приходится работать, даже времени не остается пожить в настоящем, нетеатральном... Такова чудовищная подлинность, достигнутая в этой постановке, где они должны и страдать, и болеть, и голодать, и умирать уже по-настоящему, потому лишь, что все это должен знать и пережить их будущий властитель. Какой дьявольский труд! Они, наверно, сходят понемногу с ума и под занавес уже принимают спектакль за подлинную жизнь, любят и не хотят расстаться с театром так, будто он настоящий мир и настоящая жизнь.

Но конец пьесы суров, его нельзя нарушить, конец приходит, и тогда ему сообщают все то, что раньше скрывали, он становится властителем, а они, старики, вошедшие в роль до сумасшествия, не знают, что же им делать, когда роль окончена. Он жалеет, даже любит их и приближает к себе; все-таки они по не-

обходимости бывали жестоки, а на самом деле они любили, тщательно скрывая, боясь гнева неведомого ему постановщика, и все-таки иногда даже нарушали текст... Ася же, ее, наверно, ожидает казнь, так она выдает ту настоящую жизнь, что за спектаклем... Поэтому-то так резко и мучительно срывается она временами, потому что все время не дается ей жестокая по пьесе роль, все забывает она роль и приносит с собой ту настоящую жизнь, что запрещена ему. Ей, пожалуй, очень достается за это на репетициях. Ее и терпят только потому, что никак не заменить ее кем-либо. А может, она и не отступает от роли, может, у нее такая и есть роль, последняя перед завершением и открытием ему всех тайн другой жизни, такая, как бы подготовительная к финальной сцене роль?..

А может, никакой он не принц, а самый несчастный человек — подопытный в огромном эксперименте? Может, хотя бы узнать, как будет с человеком (центральным персонажем), если всю жизнь свою проведет он в нелепом спектакле, где все знают назубок свои роли и никогда не сойдутся, и только он без роли живет, принимая спектакль за жизнь, и живет для себя, «за правду», и не знает, что играет для кого-то, кто сличает его действия с уже написанной ролью? И вся пьеса написана, все продумано с нечеловеческой способностью, чтобы получать от него всегда единственную реакцию и никакую другую, какого сложного построения это бы ни потребовало?

А если так, то этот опыт уже провалился. Потому что он, несчастный подопытный кролик, все-таки понял, как ни пытались его обмануть... понял, что, кроме спектакля, есть другая жизнь, главная и живая...

...Так Алексей воображал себе. Он уже согрелся и покойно вытянулся. Словно бы растаял жуткий комок, что был у него под сердцем, и тогда Алексей смог выпрямиться. Так он отходил понемногу и еще что-то воображал. Потом и это прошло. Голова стала свободной, но уснуть он не мог. И он уснул.

Ему приснился мерзкий, жуткий, душный сон. Он таких еще не видел. От ужаса он и проснулся. Но, как ни силился, не мог вспомнить сна: забыл начисто. Душно было, вот что.

Он ступал босыми ногами, пол был прохладен, это было приятно. Подходил к окну и отворял его. Воздух со снегом попадал ему на грудь и лицо — Алексей переминался у окна. Видел тот же фонарь, болтавшийся под крышей склада, но часового не было. Алексей постоял, дыша и глядя, но не насиловал себя: постоял, пока это было приятно, а когда стало зябко, окно закрыл. После этого он включил лампу и стоял перед книгами, не зная, что выбрать. Какая-то книга была нужна ему сейчас, и он шарил по корешкам, какая. Вдруг вспомнил о книге, которую читал лет в десять-девять и с тех пор не читал. Все эти годы он и не вспоминал о ней, но сейчас вспомнил то странное ощущение от книги... Он вдруг стал уверен, что это ощущение сейчас необходимо ему. Удивляясь, что забыл на много лет и именно сегодня вспомнил, он рылся за книгами — она могла быть только там, потому что он не видел ее в первых рядах. Он рылся и вспоминал про книгу. Что в ней и о чем она, переплет ее, и шрифт. Он вспомнил, что извлек ее из уборной, кто-то ее туда выбросил, и читал с таким неведомым пристрастием, тщательно, дословно, хотя ничего не понимал в ней. Но это непонимание было, он это помнил до сих пор, какого-то особого, приятательного свойства. И так, роясь за книгами, он вдруг нашел

ее, сдул пыль, хлопнул ей по бокам так, что из нее вылетел шар пыли. Понял, что стынет, побежал к постели, с возней забрался под одеяло, с наслаждением, после еще большего холода простынь, с наслаждением и медленно согреваясь.

Оттаяв, он с любопытством раскрыл книгу, но внешний осмотр никак его не удовлетворил. Первых восемнадцати страниц вообще не было, последняя была девяносто шестая, но это не был конец книги, потому что в конце страницы стояла запятая. Он вспомнил, что внизу иногда бывает, через определенное число страниц, фамилия автора или название произведения. Но и этого он не обнаружил, а обнаружил, что и еще вырваны страницы: 33-я и 34-я, 49-я и 50-я, 65-я и 66-я, 81-я и 82-я. Единственное, что понял он, — что книжка напечатана без ятей, следовательно, книга не старинная, хотя и старая. После такого осмотра он уже почти с исследовательским интересом стал читать.

Но — мало что понимал. То есть ловил себя на том, что уже прочел три, допустим, страницы, а ничего не запомнил, что читал. Проскользил взглядом по каждому известному вроде в отдельности слову, а что сказано ими всеми, от него ускользнуло. Так, начав с 19-й страницы, он запомнил самую первую строчку: «...которые никогда ничего не объяснят нам в жизни». И лишь через три страницы еще фраза остановила его: «И если мы опять заговорим о Боге, то не пойдем друг друга», — остановила лишь потому, что была последней для этих трех страниц, после нее следовал пробел и заголовок «Письмо второе». Он рассердился на себя за то, что, прочитав, не уловил смысла. Такое могло случиться над учебником, когда задумаешься или вообразишь себе что-то, в то же время продолжая читать, но здесь он же и не думал ни о чем и читал легко, почти с увлечением...

Он вернулся к началу, но понял едва ли больше. «Я старый человек и не имею права на слабость юности...» — кусочек фразы хоть и застрял в его голове, но не более как хоть какая-то информация об авторе, то есть что он старый. Возбужденность от находки и детских воспоминаний стала падать, а настойчивость пропадать. Представление, вначале тешившее его, что вот тогда он ничего не понимал, а сейчас, поживший, так сказать, и умудренный, все поймет, обернулось досадой: казалось, в детстве он понимал больше.

«Письмо второе» было бесконечным, и он от фразы «Так на чем же остановиться, выбирая?» скользил, легко читая, почти что просто переворачивая страницы, и даже не заметил, что с 32-й перешел сразу на 35-ю — потери смысла в этом не уловил. Им овладело нетерпение, когда же это бесконечное письмо кончится.

Поэтому «Письмо четвертое» он читал с каким-то даже подъемом. «Но если вы уж настолько не верите, я готов доказывать на пальцах...» — начиналось оно.

Хотя и на пальцах, Алексей и тут не все понимал. Это было так: то все туман, туман, то разрыв и краешек неба. Это была не та, не нынешняя речь. Но он уже что-то ощущал в ней и напоминал ощущение. Получалось нечто вроде перевода на его, Алексея, язык, перевода с адаптацией. За исключением полных по непонятности провалов, в этой главе говорилось о том, что любовь в нас и выше нас, и если ты еще живой, то ты еще и любишь, а если любишь, то что же это такое и откуда это? Про желание и страсть Алексей все понял — это было действительно как «на пальцах» — они были отдельны от любви. Про жа-

лость было уже темновато. Чуть ли не выше любви оказывалась жалость, а потом все-таки ниже, во всяком случае, любовь и жалость оказались тоже разные вещи. Больше всего заинтересовало Алексея рассуждение о ревности.

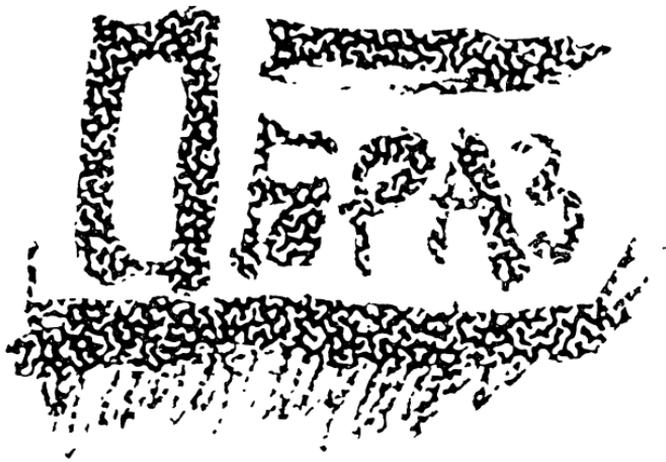
Ревность оказалась особенно ни при чем и даже противоположна любви. Вот мне кажется, что я люблю, говорил этот странный автор. Вот я хожу по пятам, преследую, обожаю, ненавижу, то жар, то холод, визнаю, требую, зову, мечтаю, что еще? Ревную, задаю вопросы, предъявляю права... И если я уж так теряю лицо, то чего же жду, если разобраться? Только лжи. Потому что ложь — это именно то, чего хочу и в ту минуту, когда теряю жизнь и лицо. Но как бы я ни ревновал, всегда есть такой последний вопрос, которого я не задам никогда. Люди исподволь всегда боятся крушения веры и в естестве своем никогда не идут на это крушение. И тут — «даже в безверии пребывает любовь, как вера». «Это верно,— думал Алексей.— Со мной тоже так было в начале знакомства с Асей. Но потом я понял, что не следует задавать вопросов. Сам понял. А то бы не осталось теперь у нас ничего». Стал читать дальше — все пугалось: про Бога да про Бога!.. И вдруг связь восстановилась. «Что такое гибель и крушение в любви для таких людей? — спрашивал автор.— Самоубийство и убийство?» Это трагедия все-таки заданного последнего вопроса: как ни избегал его человек, но он всплывал с неумолимостью, и вот он задан — и все рухнуло, не справился человек. И задавать-то этот вопрос было бессмысленно: человек все знал и так, но не позволял себе это знание. И был верен. Разве любовь имеет права? Разве виноват человек, которого мы любим? Зачем же это насилие? Разве мы хотим раздавить любимого, а с ним и свою любовь?.. Опять пошло про Бога, и Алексей проскользил целую страницу. И вдруг: «Господи! Какие мы все маленькие!» — воскликнул странный автор. «Это так! Это так!» — радовался Алексей. Мы же не вмещаем в себя ничего, говорил автор. А если уж приходит любовь, то не остается и этого ничего. Есть любящие, и есть любимые. Это не касты. Просто каждый кем-нибудь любим, а кого-нибудь любит. И тогда каждый для кого-нибудь благороден и для кого-нибудь подл, для кого-то мягок и к кому-то жесток, для кого-нибудь велик и для кого-нибудь ничтожен, каждый кому-то лжет, а кому-то говорит правду и т. д. И все это «от малого помещения нашей души». Все это с тем человеком, который «не верит, но еще чудом не мертв, а жив». И такому я скажу: да откуда в тебе-то, крохотульке, любовь? Откуда она в тебе? Ведь не от любимой же, она еще меньше, нет же исключительности такой, единственности в ней самой-то нет — это ты привнес. Ну а если ты согласишься, что это не от нее, что просто был ты готов к любви — и она возникла, она была неизбежна, любовь, но случайна была та, которую ты полюбил, если такой ход мысли тебе ясен, то давай пойдем: из тебя ли исходит это? А ведь и не из тебя. Ты-то ведь тоже крохотный: вот как в тебе ничего не осталось, когда пришла любовь... Ты и жесток, и подл становишься, хотя и сам, может, не замечаешь, ко многим другим, до любви тебя окружавшим. То огромное, что есть любовь, не оставляет ни точки в твоём крохотном пространстве и даже разрывает тебя и гораздо превышает тебя. Ты становишься таким большим, каким никогда бы не мог без этого стать, а в том, чем ты был без любви, ты становишься еще мельче. Так как же из тебя могло возникнуть большое? Так что и не из тебя.

Дальше все сбилось, закрутилось... Оказывается, и то, о чем писалось,— это еще и не любовь вовсе. Это только чтобы на понятном для людей в безверии языке сказать это все на пальцах... А если говорить всерьез, то
.
. это все было мимо, мимо.

Вдруг, словно бы без всякого повода, следовало описание прекрасного сада, но оно обрывалось внезапно, потому что тут как раз была вырвана страница.

...Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что понял, а что не понял, про Бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же? — очень поразило его.





(ТРЕТИЙ РАССКАЗ)

Когда Монахову напоминали — друзья ли, родичи ли или прослышавшие о том люди, — что он скоро станет отцом, он видел и слышал их издалека, и лишь слегка удивляли его выражения их лиц, самые различные — то ли проникновенные, то ли сочувственные, но им не подвластные: все с оттенками подрагивания и подмигивания. Притом, чему они подмигивают, им, по видимому, не было вполне ясно, это было помимо их воли, — и тогда на смену этим выражениям приходила мина достойная. Независимо от того, были ли они сами отцами, эта достойная мина подчеркивала их посвященность в таинство: что они-то знают, что там, за той дверью, которую ему, Монахову, еще предстоит открыть.

Монахов объяснял в ответ, как бы оправдываясь, что хотя его жену и увезли в больницу, но увезли еще не рожать, а понизить давление, что еще не скоро, так что жене его рожать и рожать, но, заметив несколько раз выражение скуки и нетерпения на лицах, перестал объяснять таким образом. Да и самому надоело: от повторения переживание это притуплялось и пропадало. Он теперь как бы принимал приглашение на некоторый короткий ритуал и воспроизводил на лице ту же мину, которую исполнял вопроситель — родич ли, знакомый: либо достойную, либо хихикающую, — и не чувствовал от напоминаний ни волнения, ни потрясения, ни внезапного осознания, ни помрачения, ни взлета, никакого переживания. Он испытывал лишь некоторое нетерпение от каждой подобной встречи, даже без особой неприязни к вопросителю; взгляд его становился не то чтобы бегающим или остановившимся в бесконечности, но просто безразличным.

Странное его лицо никого при этом не смущало. Все понимали, что он, вполне естественно, волнуется.

Он же расставался со знакомым и шел дальше с легким удивлением от собственной бесчувственности в преддверии события, столь важного в его жизни.

В общем, сознание того, что при мысли или напоминании о предстоящем его отцовстве никакого чувства в нем не возникает, и было основным его по этому поводу чувством. Он размышлял о странной роли отца во всем этом деле: действительно необходим был он лишь на какую-то, теперь уже такую далекую, секунду. Дальше же — раз, и все: дальше он не продолжался, он был оставлен, покинут и брошен. Оборванное его

чувство росло в пустоту. «При чем тут я?» — спрашивал он тогда себя парадоксально.

Просто это не умещается в мозгу, однажды ловко подумал он о своей бесчувственности, слегка беспокоившей его.

Жену он ежедневно навещал, носил передачи и писал письма, излагая в них перипетии всяких своих дел, которые как раз в то время были тоже как бы на сносях, вот-вот решались, и это много значило для него — следовательно, для жены, которая была в курсе и разделяла его деловые переживания, и, следовательно, для их будущего сына или дочери.

Написав письмо и вложив его в передачу, он направлялся на улицу под ее окно. Свистеть он не умел и знаками пытался привлечь чье-либо внимание, чтобы подозвали к окну жену. Всякий раз Монахов испытывал при этом неловкость и легкое унижение и внутренне боролся с ним. Наконец жена подходила, и они объяснялись жестами, улыбались и кивали, недослышивали и недопонимали, а прохожие «хорошо» улыбались, наблюдая эту трогательную сценку из жизни, за что Монахов их не любил конечно. Потом, вспугнутая сестрой или врачом, жена пропала в своем окне. Эта поспешность и этот испуг казались Монахову почему-то неправдоподобными. Некоторое время он еще стоял под пустым окном, на него поглядывали другие жены из других окон, и он на них поглядывал, а потом, не то с чистой совестью, не то с облегчением, направлялся домой или куда там ему надо было... Жене его было еще рожать и рожать.

В один из таких дней поворот дел Монахова наконец произошел, и все кончилось успехом. (Важно обозначить, что дело у Монахова было непростое и значительное, а успех — крупный и заслуженный.)

Закрепляла этот успех некая большая бумага, выданная Монахову в том, что он имеет отношение к делу, которым был занят и без нее. Но как бы до подписания этой бумаги и этого дела его не существовало, и работы его, и чуть ли самого Монахова тоже. Теперь же, по этой бумаге, ему начинали платить значительные деньги и оказывать всяческое уважение. И именно ее держал он сейчас в руке, свернутую трубочкой, и постукивал ею по краю стола. А потом сложил как бы небрежно и сунул в карман.

На лестнице ему показалось, что он положил ее мимо кармана, и его прошиб пот. Но нет, она была на месте. Он развернул ее, ласково оглядел штамп и подпись и с удивлением и удовлетворением прочел в ней свою фамилию, напечатанную крупными буквами, а имя-отчество — помельче... Он даже удивился, что у него такая фамилия и словно не его даже. Он решил тотчас ехать к жене в больницу и поделиться радостью, и автобус тотчас подошел. «Это нехудо, это нехудо», — уже не слыша этих слов, чему-то в такт повторял Монахов, взбираясь в автобус, и для уверенности снова потрогал бумажку.

«Ну да ладно, ну да ладно...» — повторял он, глядя в окно.

— Господи, Алёксей! — услышал он и голос сразу узнал, но не поверил, и одновременно почувствовал, как проседает с ним рядом кресло, и запах духов «Пиковая дама» был все тот же — все это в тот момент, когда, вздрогнув от неожиданности, быстро обернулся к говорившей. И больше всего поразился, что это действительно была она, что так сразу узнал ее, даже еще не увидев. За столько-то лет и не встретил ни разу, и не вспомнил, а в ту же секунду... — какая же прочная была в нем запись!

— Ну, здравствуй, — сказала она и подставила щеку таким знакомым движением (ну да, чтобы ничего не размазать!). Автобус в этот момент качнуло, так что он, не поняв, хотел ли он

этого и было ли это так уж ему приятно, но уже приложился, очень скосившись, однако, на пассажиров: как же это все со стороны понять можно и нет ли все-таки знакомых?

— А ты все так же неловок,— засмеялась она.— Ну же, как следует...— и снова подставила щеку, все тем же, таким знакомым движением. И он, ощущая полную потерю чувствительности в губах, старательно и не глядя уже на пассажиров, как бы махнув рукой, но не закрыв глаза, так что увидел, слишком близко, морщинку с кремом, которой не было раньше, приложился к ее щеке.

— Как же так...— с облегчением отстранившись, бормотал он, уже по привычке используя то, что всякое движение может быть понято как угодно, и лишь слегка направить его надо: так, не в силах скрыть некоторого своего смущения и даже неприятности происходящего, успел он придать смущению своему форму как бы естественного волнения и замешательства.— Как же так...— бормотал он.— Ася... может ли быть?..

И они заговорили оживленно, он тоже говорил, но услышал, о чем речь, лишь две остановки спустя, а пока справлялся со странным смущением удивления и недоверия, что эта женщина, сидящая с ним рядом,— кто бы мог подумать, но это Ася. И дело было не в том, что она очень постарела или подурнела, было и это, но это был все равно ее голос и ее лицо, и тем не менее лица незнакомых людей показались бы Монахову сейчас менее посторонними. И он начинал догадываться, что окажись сейчас с ним рядом каким-то чудом совершенно та, прежняя Ася — эффект был бы тот же. Потому что той Аси, Аси, которую он помнил, вообще никогда не было. Был образ, Монахов держался за него и год и другой, образ сохранился даже в мучении разрыва, а потом и в памяти. Сейчас он как бы держал в руках портрет и сличал его с оригиналом, и ничего не совпадало. Ася, постаревшая Ася, сидевшая рядом с ним, была просто неловкой кустарной поделкой, и ему как бы даже странно было, что он разговаривает с ней как с Асей. И это движение, которым она подставила щеку, такое знакомое, показалось ему заученным и ненатуральным, и тот же голос, и тот же хохоток — тоже были эрзацем, химией, синтетикой, что ли, но не правдой, и даже глаза, как он всегда думал, самые красивые, что он встречал в жизни, были хоть и голубыми, как у Аси, но плоскими и пустыми, и, что говорить, у его жены глаза были красивее. Но, по мере того как он убеждался, что это Ася и сомнений быть не може, в этом процессе сличения с оригиналом началась обратная реакция — недоверия к образу. Это распадение образа, может, впервые в его жизни происшедшее столь наглядно, что он видел как бы рвущиеся линии и исчезающие краски, было неосознанно болезненным, и, когда образ испарился и уплыл, растаяв, словно облачко, он почувствовал облегчение, ожил — ему стало интересно. Потому что ощущение, им теперь овладевшее, называлось уже любопытством: именно оно присутствует при сличении старых механических записей с новыми, еще неизвестными.

Именно тогда, проехав уже две остановки, он услышал, о чем они говорят, и лишь легкое затруднение испытал в том, что теперь, любопытствуя, но не помня начала разговора, может повториться, а это может показаться невниманием, чего он уже не хотел, испытывая любопытство уже не только к рассказу, но и к сидевшей рядом с ним *новой* женщине. Он, впрочем, быстро сообразил, что и это может быть отнесено за счет столь уместного тут волнения и надо только учесть это.

— Так ты что, недавно приехала? — спросил он.

— Помилуй, я никуда не уезжала.

— Как же мы с тобой и не встречались ни разу? — действительно удивился Монахов.— Вот раньше — встречались каждый день и даже еще не сговариваясь сколько раз сталкивались просто так на улице, помимо свиданий, а как расстались — ни разу. Я был уверен, что ты уехала.

— А ты все такой же рассудительный...— ласково засмеялась она.

Монахов снова отметил неестественность ее интонаций, но теперь это его вполне устраивало, потому что намекало на некую возможность, уже начинавшую увлекать его и в то же время ни к чему его впоследствии не обязывающую.

— А ты куда сейчас едешь? Если не секрет? — сказал он.

— На работу,— сказала она.

— Надо же! — опять вполне искренне удивился Монахов.— Так ты что, каждый день этим автобусом едешь?

— Конечно,— сказала она.

— Так я ведь тоже на работу на нем езжу,— сказал Монахов.— Вот ведь странно, впервые встретились...

— Очень просто,— сказала она,— просто мы ездим в разных автобусах.

— Да...— протянул в ответ Монахов и посмотрел на нее с недоумением.

— Ты что на меня так смотришь? — засмеялась она.— Как на дуру. Просто мы ездим на встречных автобусах: ты работаешь там, где я живу, а я наоборот,— вот мы и разъезжаемся все время.

— Ну, я тебе скажу!..— как бы восхищенно сказал Монахов.— Голова у тебя все такая же ясная. Я бы никогда не сообразил.

— Ты что же думаешь,— кокетливо хохотнула Ася,— что у меня уже склероз обязательно должен быть! Неужели я кажусь тебе такой старой?

— Нет, что ты,— не вполне искренне сказал Монахов,— ты прекрасно выглядишь.— И, чтобы придать достоверность своим словам, сказал как бы грубовато, но так, что любая женщина легко бы простила, будто это подтверждало его искренность:— Помнишь, ты сама говорила: маленькая собачка — до старости щенок.

— Верно,— обрадовалась Ася,— маленькая собачка...

А Монахов, еще раз взглянув ей в лицо, теперь обнаружил его не постаревшим, а даже помолодевшим. Все-таки тогда он был совсем мальчик, а она на пять лет старше, а теперь он ее как бы нагнал. Это было и на самом деле странное чувство, он его уже отмечал в последнее время... Однажды люди, всю жизнь бывшие значительно старше его, решительно помолодели. Учительницы, например.

— А ты тоже совсем не изменился,— сказала Ася.— Хотя вот и сесть, я вижу, начал.— Монахов поймал и узнал этот цепкий Асин взгляд: таким он был у нее, когда таскала она его, мальчиком, за собой по магазинам или смотрела на проходящих мужчин,— и он не любил его тогда, а сейчас этот взгляд польстил ему.— Это девочкам должно нравиться: лицо молодое и виски седые.

— У меня уже и зубов нет,— расплывшись, неумно хвастался он.— Вставляю хожу.

— И костюм на тебе хороший,— сказала она, скользнув по пиджаку тем же цепким взглядом.

И Монахов ощутил освобождение, облегчение, с него как бы

спали цепи, гири насилия над собой, благодаря которым был он человеком с такими-то и такими-то редкими качествами, и без гирь и цепей, свободного, его просто не было — одно желание, желание, усиливавшееся всеми теми неприятными ему по вкусу, уму или морали чертами, которые бросились ему в глаза через столько лет в его старой любимой. Тут уже было не воспоминание-узнавание, а нечто обратное и противоположное: садизм разочарования — изнанка, негатив прежних чувств. И тем страннее, где-то вдали, мутно, показалось ему подобие... Потому что, обратным ходом, прежние-то чувства были спечатком с того же негатива.

Начиналось отчасти то, что теперь называется, не в силах подобрать другого слова и разбираться в нем, «заводкой». Что-то ложное и обратное всем чувствам и мыслям и, одновременно, на этот момент словно бы наиболее правдивое, появилось на свет, раздвигая скорлупу. Нечто отодвигаемое в постоянном испуге перед собой и своей слабостью справиться с этим, что-то тщательно хоронимое от других и еще более от себя, что-то задушенное полностью общепринятого в том или ином кругу и никак не разрешенное личностью и оттого все высывающееся, вылезавшее — и нечистая сладость в этом. И договариваются напиться, ничего уже не имея как бы в виду — но все для этого, и даже почти необходимость и некий институт регуляции в этом, периодичность и режим. И никто не скажет себе: зачем? — прозвучит неприлично, пошло, можно сказать — несправедливо. Просто повеселиться, выпить среди друзей — «заводка»... Тут как бы человек машет рукой, закрывает глаза — и поехали. «Ну и пусть», — бессмысленно повторяет человек. И царское чувство вседоступности вдруг исходит током, от одного к другому, охватывает всех, и наутро разъезжаются тихие, а глаза бегают.

И весь этот механизм «заводки» настолько уже не составлял для Монахова тайны, что становился еще большей тайной. Но ток уже был установлен, он был взаимен — это тотчас почувствовали и он, и Ася, они разрешили тут же его себе, он рос и усиливался от обмена, этот ток. И они вдруг замолчали, как бы обо всем договорившись. Помолчав и пережив в себе что-то, они, отдыхая, как тянутся за сигаретой, некоторое время не глядя друг на друга, продолжали разговор, в том тоне новой близости и отдаления после близости, какого не могли бы позволить себе сразу.

— Ну и как твой доцент? — спросил Монахов с тем вечным удовлетворением в голосе, что рождается от мнимого превосходства над другим мужчиной, если его женщина рядом с тобой.

— А мы расходимся, — легко сказала Ася.

Все-таки где-то, далекими тенями, была еще в Монахове память о пережитом: о ненависти к этому человеку и о боли. Теперь же ему предстояло некрупное торжество, вроде записи задним числом или подделанной подписи...

— Так ты что же, все это время с ним? — сказал он и не мог скрыть разочарования; взглянул в окно: остановку свою он проехал.

— А ты все еще ревнуешь? — снова засмеялась Ася, и смех ее уже вовсе показался Монахову неживым и брэнчащим. Но вопрос поразил своей грубой точностью. Его, как человека, удалившегося по ходу мыслей от первоисной так далеко, что не видны уже ни цель, ни отправной пункт, а лишь вечная середина, пустыня, удивил столь прямой перелет над этим морем рассудка и прямое название предмета, ему, за деталями, не различимо-го...

Монахов промолчал, удивляясь. Ася сказала:

— У нас уже дочь в будущем году в школу пойдет.

— Подумать только,— сказал Монахов, повторяя про себя ее фразу и бессмысленно перемещая по ней слово «уже», которое спокойно помещалось в любом месте фразы и тем ее окончательно разваливало.— Так ты все-таки умудрилась выйти за него замуж? Мне казалось, он на это никогда не пойдет...

— Что ты! Он умолял меня...— сказала Ася.

— Значит, упросил,— сказал Монахов.

— Да нет, я, в общем, этого и хотела,— сказала она.

— М-да,— сказал Монахов.

— Ну а у тебя,— спросила Ася и опять прицелилась взглядом,— дети есть?

Монахов немножко вздрогнул и задумался.

— Н-нет...— сказал он неуверенно.

Ася усмехнулась.

— Но ты женат?..

— Женат,— сказал он, опять подумав. Почему-то если его все-таки вполне устраивало, что она замужем, то он сам вроде бы должен был быть свободен...

— Значит, ты пропал для женщин,— сказала Ася.— Жаль.

— Как сказать...— Монахов выпрямился, надулся и поелозил в кресле.— Смотри для кого... Для тебя — нет,— наконец сказал он и шумно вздохнул.

— Покраснел! Покраснел! — рассмеялась Ася.— Все такой же ребенок!

— Я жеребенок молодой, заносчивый и гордый...— пропел Монахов.

И они оба рассмеялись и заговорили оживленно, а Монахов опять не смог бы вспомнить — о чем. «Почему это,— мимолетно удивился он,— как только я начинаю вести себя, с моей точки зрения, как раз не по-детски, женщины говорят, что я ребенок?» — и он чуть повернулся седым виском к Асе. Так они смеялись и болтали оживленно, перебивая друг друга и ничего не запоминая; слегка плавали и подпрыгивали расплывшиеся пятна лиц — они уже не стыдились автобуса: как бы плавали над всеми в состоянии невесомости.

— Нам выходить,— вдруг сказала Ася.

«Нам...» — подумал Монахов.

Они сошли на Островах... По обе стороны улицы, свободные, без решеток, стояли деревья, почти нагие, где-то за ними маячил обветшалый желтый особнячок — они шли по улице, улица изгибалась, соединяя мост с другим мостом. И Ася спросила:

— Ну и какая она, твоя жена?

— Как какая?..— несколько оторопел Монахов.

— Красивая?..

— Да, наверно,— неохотно ответил Монахов.

— На меня похожа? — сказала Ася и состроила гримаску. Гримаска ей не пошла.

Монахов от гримаски отвернулся, подумал, что ответить, стал вспоминать, какая же она, его жена, в двух словах, и вдруг оживился от внезапного открытия, которое раньше никогда ему на ум не приходило.

— Представляешь,— сказал он звонко,— как странно... Полная тебе противоположность. Как будто специально подобрал,— рассмеялся он и спохватился: — Представь себе женщину, столь же красивую, как ты,— сказал он дипломатично,— но полностью тебе противоположную: ростом, и полнотой, и голосом, и мастью...

— Получается что-то очень большое? — сказала Ася, и на этот раз интонация очень удалась ей, и Монахов рассмеялся и тут вдруг вспомнил Асю всю, какую любил: ей и раньше, бывало, удавались такие фразы. Он вдруг вспомнил Асину близость — желание, почти тоскливое по силе, поднялось в нем.

— И темперамент,— подавленно добавил он, опять удивившись, что противоположным было все, даже постель, и что-то тут было не просто так и недаром. «Как же все-таки все необходимо связано, чтобы быть цельным...— подумал он.— Чтобы не рассыпаться».

— И живете вы, конечно, с твоей мамой? — Тут Монахов опять вспомнил всю Асю: так она сказала «м-ма-мой»,— эту Асю он в свое время боялся и, кажется, даже не любил, но хотел еще больше, чем Асю любимую.

— Это чувство, я вижу, в тебе не ослабло с годами...

— О да!..— сказала Ася.— И как она с ней ладит?

Монахов отметил это «она с ней» как нежелание назвать ни ту, ни другую, уловив в этом и в тоне некую ревность, что ему опять польстило.

— Очень хорошо,— сказал он убежденно, хотя у него не было на это оснований, и покосился на Асю: как она это воспримет?

Ася же отнеслась к этому необычайно равнодушно и, казалось, думала о другом.

— Значит, у тебя нельзя,— сказала она.

Монахов задохнулся.

Ася взглянула на него и расхохоталась.

— Ты все такой же!

Монахов не вполне внятно развел руками.

Они дошли до красной кирпичи, и Ася остановилась.

— Дальше меня не провожай.

— Что так? — обиделся Монахов.

— Просто меня там на остановке ждут.— Она взглянула в нелепое лицо Монахова и счастливо рассмеялась.— Ну да, ждут.

— Муж?

— Нет, жених.

— Слушай,— сказал Монахов,— и ты не устала еще? Ты опять собираешься замуж?

— Что поделать...— искренне вздохнула Ася.

— Сколько же у тебя энергии! — сказал Монахов почти с восхищением.

— Устаю я...— сказала она просто.

— У тебя есть комната, ты хорошо зарабатываешь... Отдохнула бы хоть...

— Ох, с удовольствием! — Ася устало улыбнулась и подмигнула Монахову. Подмигивание ей снова не удалось — Монахов почувствовал себя неловко.

— Хороший хоть парень? — спросил он.

— Хочешь посмотреть? — сказала Ася.— Я пройду вперед. А ты потом за мной, как бы невзначай. Вечером расскажешь, как он тебе понравился. Хочешь? — оживленно и настойчиво спрашивала Ася.

— Давай,— сказал Монахов. Это «вечером расскажешь» очень ободрило его. Он прямо-таки не ожидал такой легкости.

Ася ушла вперед. Он выждал и последовал за ней. Подойдя к остановке автобуса, Ася подкралась к высокому человеку, стоявшему в конце очереди, и, подпрыгнув, обхватила его со спины, повисла. Монахов услышал рассыпавшийся ее смех, то, как она наскочила и обняла незнакомца, было в точности зна-

комо ему и ни капли не изменилось. Она, маленькая, привстала на цыпочки, он, длинный, наклонился и подставил ей щеку, и они заговорили оживленно, не выпуская рук. Монахов почувствовал странное смещение в мозгу, до того он вспомнил себя сейчас этим вот длинным человеком. «Кто он? Кто Ася? Кто я?» — странно подумал он и поглядел на них как-то косясь, бочком, слегка склонив голову набок, как курица поглядел. В голове слегка зазвенело. «Зря это она»... — подумал он, но относилось это не к длинному, а к нему самому, это он себя пожалел, не понимая еще — за что. «Не надо было мне этого знать...» — подумал он. «Ничего не надо ни о ком знать!» — подумал он с раздражением, вдруг представив себе жену, которая, допустим, вот так же бы подошла сейчас к нему, оставив за углом, допустим, этого длинного. «Тьфу, черт!» — процедил Монахов, но он уже поравнялся с ними, исподволь разглядел лицо длинного. Лицо длинного понравилось Монахову, и тогда он его пожалел. В этом было, впрочем, и некое тщеславие. Длинный вдруг поднял лицо от Аси и взглянул в глаза Монахову, внимательно и простодушно, и Ася в этот момент успела подмигнуть Монахову. Длинный снова склонился к Асе, а Монахов уже удалялся от них, сдерживая в себе желание оглянуться, чувствуя, как стягивается на спине кожа в какую-то знобливую складку; он удалялся, пощупывая в кармане бумажку с телефоном, по которому ему было назначено позвонить через два часа, и смешанное чувство удовлетворения и неприязни жило в нем. «Вот ведь... — самодовольно и грустно думал он. — Переменились роли... Нет, тогда была не роль!.. Тут есть над чем подумать...»

«А помнишь? А помнишь?..» — настигали его обрывки автобусного разговора. Он не помнил. Вернее, все, что помнил он, ровно не то помнила она. Бесцельно брел он теперь по улице, ничего не видя, с недоумением разглядывая обломки их разговора. Вот что его, оказывается, потрясло... Все эти годы Ася хранила (пряча от мужа?..) и перечитывала его, Алешины, письма. «Ты замечательные письма писал!..» Монахову стало горячо, неловко за детскость оставшихся на бумаге слов. Он их не помнил — она знала наизусть. «Да брось, я двух слов еще не умел связать...» — «Умел, умел!»

Однако в этом смущении не так просто было разобраться: кто кого стыдился? Этот ли Монахов того, тот ли Алеша — этого?.. Было ли Монахову неловко за Асин избыток сентиментальности (неожиданный для него) или — за недостачу своей?.. Ведь это он ее любил, она — нет, а что вышло?.. Он был уверен тогда, что не переживет, — но смерть его прошла, как болезнь, будто и не бывало. А у нее, оказывается, именно это и было — он. Конечно, преувеличение, заман... однако, во всей ее неискренности, в письма свои Монахов почему-то верил. Ведь это она его предала, а неверным теперь оказывался он. Изумила его эта верность предательницы.

«Надо же! За десять лет и не встретил ни разу — как исчезают люди! А может, десять лет исчезли?» — так думал Монахов и вдруг подошел к больнице. Справился о здоровье жены: все было в порядке, давление упало, и скоро ее выпишут, чтобы уже дома дожидалась срока. Он написал жене письмо, слова не шли, и он не мог ни о чем вспомнить, о чем бы таком написать. И лишь отойдя порядочно от больницы, вспомнил, что спешил поделиться с женой радостью по поводу утренней своей удачи.

...Мать пекла пироги и курсировала по коридору из комнаты в кухню, из кухни в комнату, все что-то забывая и вспоминая. Монахову никак не удавалось остаться наедине с телефоном. Он

с удивлением обнаружил сам, что нервничает. Он чувствовал себя, как десять лет назад, может, чуть глуше, но так же. Чувства его свернули на боковую, заросшую, но удивительно знакомую тропинку. И в этом смысле он становился на десять лет моложе. Хуже было то, что он почти тут же сознавал это, не успевая чувствовать долго. Во всяком случае, запахивая пальто и бурча невнятно про сигареты, которые якобы кончились, он испытывал почти удовольствие от позабытых волнений, выскакивая на улицу.

В автомате, набрав номер, в ожидании гудка, он уже заволновался по-настоящему, без наблюдений и фиксаций: а вдруг ее нет или номер неправильный... — время для него на мгновение выпало, и он вздрогнул, услышав неожиданный голос, и, уже понимая, что это Ася, на всякий случай спрашивал: Агнессу Михайловну.

— Это же я, глупый! — говорила Ася. — Подъезжай ко мне.

Детский сад, которым руководила Ася, находился на окраине, в новом районе. Монахов распрямился и шел все более упруго, приближаясь к цели. Уверенно спрашивал дорогу. В какой-то момент спохватился и почувствовал себя неумным. «Неужто победителю обязательно быть глупым?» — было подумал он, но тут же как бы обрадовался этому поглупению и как бы похвалил себя за него: «Зато насколько полноценнее я себя чувствую», — сказал он себе с полуусмешкой.

Желтоватый дом стоял в парке, выгороженный заборчиком. Парк был пуст, Монахов пересекал вытопанную площадку перед домом, огибая горку, и гриб, и порожнего лебедя так решительно, так — как бы ни на кого не глядя, словно шел в толпе, где все останавливались, поворачивались и с восхищением смотрели ему вслед. Он чувствовал себя выше своего роста. Он очень быстро рос, подходя к дверям, вестибюль и лесенка были уже малы для него — это казалось естественным для детского сада, — на лице Монахова появилась добрая улыбка, он поднялся по лестнице, как бы мимоходом приостановившись и потрепав по голове выбежавшего навстречу озорника, но было тихо и пусто. Весь шум был шумом крови Монахова. Открывая дверь с табличкой «Заведующий», Монахов был уже так высок, что слегка пригнулся, чтобы не задеть головой притолоку.

Ася встретила его очень деловито, почти не взглянула. Монахов тут же стал своего роста, это получилось резковато, так что он почувствовал себя принижено. И низкое кресло неожиданно глубоко просело, и Ася за столом возвышалась над ним — его омоложение схлынуло. Ася сосредоточенно переписывала с черновика. «Учебный план», — прочел Монахов заглавие. Ася подчеркнула его по линейке красным карандашом. Монахов хотел пошутить по поводу учебного плана в детском саду и не пошутил. А так и продолжал молча сидеть. Кресло было неудобным.

Зазвонил телефон. «Милочка!» — Ася закудаhtала. Монахов откинулся, вжимаясь в кресло, глядя на Асю издалека, отчуждался. Ася уже договаривалась прийти примерить: «Ты никому, смотри, больше не предлагай. Мы к тебе зайдем». Ася рассмеялась по-своему звонко, отдельным от себя смехом: «Нет, нет, ты не знаешь!» — и подмигнула Монахову.

Повесив трубку, она выбежала из-за стола и села Монахову на колени. Поцеловала. Рассмеялась. Монахов попробовал, в свою очередь, поцеловать ее, она ускользнула.

— Сейчас, Алеша. Еще один звонок, — сказала она, озаботившись.

Это был деловой звонок. Монахов слушал Асю и немножко

удивлялся. «Это возмутительно! — говорила она. — Ведь дети мерзнут!» — она стала расстегивать халат. Под халатом была рубашка. Это было неожиданно для Монахова. Ася поймала его взгляд, посмотрела сама себе на грудь и вдруг взглянула на Монахова так откровенно и просто, что Монахов задохнулся. «Какое мне дело! — тут же вскрикнула она. — Хотите нажать неприятности? Завтра будут», — и бросила трубку.

Этот тон, каким она говорила по телефону, и этот ему взгляд польстили Монахову, он бы не мог ответить себе — почему.

Ася проходила к шкафчику, на ходу сбрасывая халат, натягивая кофту, говорила «застегни», подставляла спину. Монахов бережно тянул «молнию». Входила нянюшка. Монахов продолжал сидеть в том же кресле, но уже как будто что-то тайное произошло в этой комнате: поза его была той же, но раньше она была неудобной, а теперь небрежной. Он снисходительно прислушивался к разговору. Нянюшка, белесая девица, что-то быстро сказала, невпопад взглядывая на Монахова не то с любопытством, не то с замешательством, и это ему тоже льстило. Он вдруг заметил, что Ася умно смотрит на него, и смутился, отвернулся. Нянюшка сбилась. «Ладно, Настя, ступай», — сказала Ася.

— Может, выпьем где-нибудь?

— Мне нельзя, — сказала Ася.

В который раз у Монахова схлынуло в предчувствии поражения.

И дальше Монахову временами становилось вовсе непонятно, что происходит. Он проталкивался за Асей по магазинам, задевал ее сумкой чужие ноги. Ася в магазине становилась так далеко от него, он снова вспоминал чувство десятилетней давности, когда вот так же сопровождал ее, и, хотя теперь он не страдал и был независим от Аси, ему становилось неуютно видеть в Асе свое столь полное отсутствие. На Асином лице было одно из немногих не подвластных ей выражений, когда она щупала вещи, — пристальное, цепкое, такое поглощенное, оно было настолько чужим и непохожим, что не только влюбленному, но и нынешнему Монахову становилось не по себе. Словно выдавало ее с головой, словно сдергивало парик, и это не подвластное ей лицо с испугом осознавалось истинным. И когда, отходя от прилавка, она оборачивалась к Монахову, на секунду примерив прежнее свое лицо, натянув улыбочку, поспешно, кое-как, так, что два ее лица как бы не совмещались на какую-то секунду и на бровь одного приходился глаз другого, а губы — на одну щеку. Монахову казалось, что она держит в каждой руке по маске на палочке и немножко путается, какую приложить, но она уже устремилась в следующий отдел, отдел обуви.

Они купили туфли, которые Ася тут же надела.

Она была счастлива, прижимаясь к Монахову, заглядывала, смеясь и щебеча: он начинал чувствовать тепло, приятно смущался, и ему казалось, что это он купил ей туфли.

Он заходил вместе с ней к одной знакомой по делу. Тощая темнолицая женщина с седыми нечесаными волосами, в нечистом халате, расшитом хризантемами, подавала свою жесткую руку и представлялась: «Тося». Ася начинала издали. Монахов сначала не понимал, а потом устал пытаться понять. Женщина судорожно курила, но судорожность эта была лишь манерой: женщина отнюдь не волновалась — волновалась Ася. Они перешли на полусепок, а потом и вовсе скрылись в соседней комнате. Монахов листал журнал «Болгарская женщина». Асин голос стал возбужденно громок за стенкой, но слов было не ра-

зобратъ. Монахов закрыл журнал. На обложке была изображена знатная сборщица табака, и тогда он догадался закурить.

Ася вышла, явно поссорившись.

— Пойдем,— бросила она Монахову.

— Дай закурить,— сказала она, остановившись на площадке этажом ниже. Жадно затаилась.

— Что случилось? — мутным голосом сказал Монахов, и его насторожило, что ему совершенно все равно, что там стряслось у Аси, и, более того, он не хочет этого знать.

Ася внимательно взглянула на него и, как бы стряхнув с себя все это, мужественно улыбнулась.

— Ничего. Пойдем,— сказала она.— Пойдем к той подружке, с которой я, помнишь, говорила по телефону.

Ехали они уже молча. Монахов туповато и покорно поддавался чувству ведомого. Ему было безразлично куда, и он не запомнил дороги. Он вяло ждал неизвестно чего. Все это просто так сегодня уже не могло кончиться. Но инициативу в какой-то момент определенно взяла на себя Ася, и он сразу спаразитировал, предоставляя ей все заботы, и только слегка подумал, что когда-то все было наоборот. «Если кому-то надо ухватиться за тяжелый конец, то ухватится за него тот, кто ухватится за него первым»,— косноязычно подумал он, мысль вдруг стала трудна ему. На лестнице Ася приостановила его. Быстро и деловито, по-родственному чмокнула в щеку.

— Ты тут подожди,— сказала она.— Я с ней поговорю сначала, а потом тебя позову.

Монахов остался обдумывать эти слова, Ася же исчезла в радостных возгласах.

Он сел на батарею. Она была холодной. «Ведь вот, еще не топят...— медленно подумал он.— Еще не зима...» Ему было зябко и вдруг показалось, что он уже очень давно ждет. Много лет. Люди поднимаются по лестнице, слегка измерив его, скрываются в свои норы. Монахова несколько не волновали и не смущали их взгляды, что они могли подумать, что он ждет тут кого-то, как мальчик. «В том-то и дело, что я уже не мальчик...» — не то важно, не то грустно ответил он. Это когда-то ему казалось, что все про него все знают и всем только и дело, чтобы влезть ему в душу. Теперь эти взгляды не трогали его. Это были теперь не те взгляды, что когда-то. В конце концов он, быть может, просто привык к человеческим взглядам, теперь-то он знал, насколько им все равно: есть он, нету его,— и во взглядах людей прежде всего видел незаинтересованность в нем, Монахове. «Да и что тут интересного...» — подумал он.

Он закурил. И голова вдруг закружилась. Это было по ощущению в точности так, как когда-то, когда он начинал курить. На секунду Монахов почувствовал себя очень юным. «Это от голода,— тут же сообразил он.— Я с утра ничего не ел,— скучно подумал он.— Да, все повторяется...— печально подумал он.— Все ситуации те же. Как оттиски. Точка в точку. Только бледнее. Или как пластинка заскочила. Все то же, только звук с каждым оборотом хуже. Хрипы, трески... Все то же, только мы уже не те...»

Он с тоской посмотрел на дверь, за которой скрылась Ася. Когда же она наконец позовет его? Ему уже ничего не хотелось, только погреться бы, напоили бы хоть чаем... «Да и хотелось ли мне?...— вдруг подумал Монахов.— Уйти, что ли?» Но продолжал ждать.

И подумал о том, что все то же... Что вот она заставляет его ждать, назначает сложные свидания, таскает его за собой по

путаному маршруту и графику — все так же, но все уже не то. Он вот несколько не страдает от этого, как раньше. «Я допускаю ее отдельное от меня существование,— подумал Монахов.— Я допускаю отдельную самостоятельную жизнь, соглашаюсь с этой жизнью. Попросту — я равнодушен».

Монахов задремал. Ему померещилась больница. Он встряхнул головой и увидел перед собой Асю. Она рассмеялась коротким, оборванным смехом.

— Ну пошли,— сказала она решительно.

Монахов встал на затекшие, не свои ноги. Ася взяла его под руку и, вместо того чтобы повести наверх, потянула вниз по лестнице. Он вопросительно посмотрел на дверь Асиной подруги.

— К ней сегодня нельзя,— сказала она.

Тут время опять выпало.

Он услышал долгий, нечеловеческий, но нестрашный почему-то крик. Странно далекий и близкий одновременно. Почему-то несколько не удивился крику и очнулся у кондитерской фабрики. Это было понятно по мерзкому сладкому запаху, который и вернул его к действительности. Улица была пуста, фонари горели отчужденно, и это была уже ночь. Они шли, и подошвы его горели. Это был далекий окраинный район, и тогда Монахов понял, что они прошли пешком через весь город. Поминутно они останавливались и долго и испуленно целовались. Рука Монахова обнимала Асю за шею, рука как-то затекла и ничего не чувствовала. Ему было неудобно так идти, но руку, которую он вдруг обнаружил столь странно, так вдруг убрать он тоже не мог. Он ничего не понимал. Из подворотни высунулась дворничиха. Ася отскочила в сторону и рассмеялась, как девочка. Монахов потряс свободной теперь рукой и идиотски захохотал. И они побежали.

«Пойдем так»,— сказала она.

В парке на центральной аллее еще горели фонари и был кое-какой народ. Монахов понял, что еще не так поздно. И только тогда он догадался взглянуть на часы — не было даже одиннадцати, приложил к уху — нет, они не стояли. Народу на аллее было несколько пар, немного — они как бы высовывались из боковых темных аллеек, ммурились на свет и снова пропадали; остальной же народ, разрозненный, озабоченный и спешащий, имел одно направление — на электричку: короткий путь лежал через парк. Чумазый, как бы состоящий из одних теней парень попросил у Монахова закурить, и опять только тогда Монахов понял, что давно не курил, и с наслаждением, уверенно и самодовольно поглядывая на свою даму, закурил сам. Все сегодня он понимал лишь с помощью других: и время, и место, и собственные желания,— сам бы уже не догадался.

Тропинка пошла вниз, и повеяло холодом. Тогда воздух показался Монахову свежим. Он вдохнул его чрезмерно глубоко и сделался сентиментален.

— Будто ничего не изменилось... Так я не ходил десять лет. Будто и время не прошло...

— Да, нам опять негде,— сказала Ася.

Монахов, переполнившись, попробовал снова привлечь к себе Асю, но она увернулась.

— Давай лучше посидим, покурим,— сказала Ася.

Тут, у пруда, было совсем темно. Монахов некоторое время сидел молча и как бы отдельно, деревянный от оборванного своего движения. Тишина и темнота, окружавшие его, постепенно наполнялись шорохом и всплеском: что-то ворочалось в кустах, большое и неловкое, но не в одном месте, а как бы перепрыгива-

ло за кустами и, устроившись поудобнее, снова вспархивало и казалось Монахову надутым матрасным мешком.

— Я тебе не рассказывала,— сказала Ася,— тут хулиганы... Тут вечером опасно... Тут недавно девочку одиннадцати лет изнасиловали и зарезали...— Ася снова хохотнула, и Монахову показалось, что она отодвинулась, он неловко и грузно повалился вперед, на Асю.

— Не надо,— сказала она и, легко вывернувшись из пустых его рук, встала. Она стояла над ним, Монахов остался полулежать, опершись о локоть, и смотрел, как она поправляла вздернувшуюся юбку. Коленка, бывшая у него перед глазами, померещилась ему мордочкой, он посмотрел на неясное пятно Асиного лица и поразился сходству.

— Вставай, вставай,— сказала Ася.

Монахов тупо встал. Ася пошла вперед, он последовал, чувствуя себя неуклюжим.

— Это самый короткий путь,— сказала Ася.

Монахов уже не задавал себе вопрос, куда он, короткий этот путь.

— Вот мы и пришли,— сказала Ася.

Монахов стоял перед двухэтажным домом. Окна в нем не горели. Парк кругом был темен, а на площадке перед домом на одиноком столбе горела сильная лампа. Свет падал из-под колпака широким конусом и освещал горку и деревянного лебедя, казавшегося черным, и первый этаж, вполотна.

— Откуда ушли, туда и пришли,— сказал Монахов с непонятной самому себе интонацией.

— Ты тут подожди,— сказала Ася. Она согнула ногу и сняла туфлю, вынула ее из-за спины, как бы желая вытряхнуть камушек, и подала Монахову. Он машинально взял. Она стояла на одной ноге, а он не понимал. Она подала ему вторую туфлю. Монахов стоял, держа перед собой туфли, по одной в каждой руке. Ася перед ним стала ниже ростом и от этого как-то беззащитней. Она была сейчас перед ним прежней Асей, какую он знал когда-то,— ну да, тогда ведь высоких каблуков не носили...

— Ты не ходи,— сказала она.

Он видел, как она пересекла освещенное пятно, приблизилась к дому. Монахову не было ни холодно, ни страшно, но, один, он вдруг стал дрожать крупной, бессонной дрожью, как конь. Белым ночам было явно не время, должно было быть совсем темно, однако какой-то призрачный свет все стоял у Монахова перед глазами и поворачивался вслед за ним, но за светом этим он уже ничего не различал. Будто это сам светился. Время чрезвычайно замедлилось, вытянулось — собственно, остановилось. Так ему казалось, или так он потом вспоминал об этом. Он не ручался бы, что все именно так, как он видел... Может, она и не пошла бы в чулках по песку, может, он ее до самой двери проводил и лишь там, на пороге, вручила она ему свои туфли, а он потом отошел под грибок... Но почему-то в памяти она долго шла к дому, а Монахов даже и потом поджимал пальцы в ботинках при воспоминании. То, что она так изменилась без каблуков,— это помнил. Помнил или видел?.. Она шла неловко и задела юбкой клюв лебедя. Прилипла к двери ухом. Подергала, попробовала какой-то ключ. Тот, видимо, не подошел. И тут все стало уже очень странно — так ему казалось, или так он потом вспоминал, будто Ася, крадучись, чтобы быть ниже окон, прошла к пожарной лестнице, отряхнула ладошкой одну ступню и поставила ее на железный прут, первую ступень, затем отряхнула вторую и так медленно полезла вверх. И так Монахов ощутил

за нее холод железа, что протянул ей вслед ее туфли безотчетным, глупым движением... Ася пересекла линию света и оказалась в темноте. Монахов еле различал медленное и громоздкое теперь пятно. Может, и не различал. Может, она и не лезла, а лишь подергала за лестницу и от такого безумия отказалась, Монахову во всяком случае это казалось преувеличением, что она по лестнице лезла. Однако он допускал и такое. Было, могло быть или не было — находились здесь в некоем равновесии, если не равенстве. Обозначали факт, хотя им и не были. Острое, слезное чувство владело Монаховым. «Да,— думал он восхищенно и пораженно.— Она же здесь начальница... Вот ведь недаром... Недаром все это со мной тогда было... Именно это я в ней любил...» — думал он, следя за темным пятном, угадывая в нем Асю и проглатывая судорожный комок в горле. В этом своем невнятном восторге различил он ее как бы стоящей на подоконнике — она дергала раму, и та не поддавалась. Монахов затаил дыхание, мальчишечье волнение и какой-то веселый страх распирали его. Может, только вот это волнение Монахова и было, ничего, кроме него, и не было... Но звон стекла был уж точно. Вдруг он услышал хруст и звон рассыпавшегося стекла.

Ася выругалась. Внизу загорелись сразу три окна. Монахов стоял ни жив ни мертв. Во всяком случае, когда он снова осмелился поднять глаза туда, где, казалось ему, должна была повиснуть Ася, ее уже не было. Он услышал в тихом доме громкие, подбадривающие себя голоса; свет зажегся и на втором этаже. Затем голоса стали глуше, и свет наверху погас.

Монахов стоял за кустом и напряженно следил за домом, нелепо держа перед собою Асины туфли. Но в этой тишине он различал лишь шорох сосны за спиной и внезапно сник и завял, и ему стало зябко; он опять подумал, что не ел целый день.

Ему показалось, что уже светает, он понял, что прошло время, сколько — он не знал, но он стоял тут с туфлями под кустом уже целую вечность. Дом был снова слеп и нем.

Замирая от смелости, он сделал шаг из кустов. Постоял озираясь. Мелкими шажками, неся руку с туфлями впереди, как бы следом за ними, перебежал он площадку и встал под грибом, пристально вглядываясь в темные окна. Под грибом он стоял тоже долго, прежде чем решился — и тут им снова овладело детское и радостное чувство опасности и страха — перебежать к двери. Приник к ней ухом и ничего не услышал. Только что-то тикало там внутри. «Внутри» ему представлялось черным и густым, как вар, тикало, как мина. Что-то громко скрипнуло, сердце Монахова громко подпрыгнуло вверх и там где-то остановилось, не стуча. Он отпрянул от двери и прижался к стене. Но это было просто так — показалось, снова та же тишина. Уже не понимая, что делает, он, как прежде Ася, подкрался к пожарной лестнице и уже занес ногу на ступень... «Алеш-ша», — услышал он шипящий шепот, вздрогнул, настигнутый, и увидел на пороге распахнутой двери Асю — она манила его. Неуклюже и как будто виновато, потупившись, он вернулся назад, и Ася, цепко и больно ухватив его за руку, втянула внутрь, в темноту. В темноте он почему-то все совал ей туфли, она же нетерпеливо и жестко подталкивала его вперед; одну туфлю он уронил, что наполнило весь дом страшным грохотом. Ася недобро зашикала. «Не споткнись,— сказала она,— тут ступенька». И он споткнулся. «Агнеса Михайловна, это вы?» — послышался отдаленный голос. «Я, я!» — сердито откликнулась Ася, резко устремляясь по коридору вперед и немного наверх, волоча за собой Монахова и жестко сжимая ему руку. Она втолкнула его куда-то. «Сиди тихо и

жди», — сказала она и закрыла за ним дверь. За дверью зажегся свет и выбился в щель. Кто-то окликнул Асю, она ответила бодро и звонко, и оба голоса, оживленно переговариваясь, поспешно удалились.

Монахов огляделся. Это была большая комната во много окон. Окна выходили на две стороны, и из них шел небольшой свет. Косые и призрачные тени переплетов ложились на пол. В углу темнели большие фикусы. Вдоль стен рядами стояли маленькие стулья. В центре помещался корабль с флажками, в комнате было как-то очень пусто и прибрано. Это была, как сообразил Монахов, комната игр.

Стараясь не шуметь, не скрипнуть, Монахов сделал три тяжелых шага и грузно опустился на маленький стульчик у стены. Он смотрел на узкую щель света из-под двери и прислушивался. Только сев, он почувствовал, как устал. Некоторое время он тупо смотрел в призрачные мерцающие окна и ничего не думал. Глаза уже хорошо видели в темноте. Он разглядел даже портрет кудрявого мальчишка на стене, когда дверь приоткрылась, свет кубом вошел в комнату, выхватив из нее Монахова, и в комнату проскользнула Ася. Она была уже в халатике. «Жив?» — сказала она, смеясь. Лицо ее было диковато и красиво. «Жив», — сказал он. Ася порывисто обняла его, по-юному неумело прижав его голову к груди и так на секунду застыв в неловкой позе. Монахову какое-то неудобство в шее, и дышать трудно... Он деревенел в ее объятиях и ничего не чувствовал. Ася вдруг отодвинулась и присела перед ним на корточки. «Ты что? — сказала она, держа его голову в руках, как бы повертывая и разглядывая. — Ты это что?» Монахов молчал. «Ладно, — сказала она, — посиди еще немного. Я сейчас приду». Она резко поднялась. «На», — она сунула ему что-то в руку и вышла. Это были два небольших яблочка, в черных жестких точках. Монахов недоуменно повертел их. «Ева, — сказал он. — Адам...» Он укусил яблоко — ему показалось, что треск яблока раздался на весь этот мертвый дом. Где-то под ним, над ним, со всех сторон, спали дети, как личинки. Монахов располагал этих детей в заплечном своем пространстве, но они были неодушевленными для него. «Эти яблочки им давали сегодня на третье...» — сообразил он. Он понял, что ничего не хочет и не ждет, и ему стало гадко от себя. Ася была ему как бы понятна и казалась прекрасной, он же сам себе сильно не нравился, потому что, казалось ему, должен был сейчас быть в некой буре чувств и желаний, иначе как бы он тут оказался, среди ночи, в спящем детском саду, в комнате для игр? Что бы его сюда привело, взрослого солидного человека? С семьей и положением? Он подумал, что все какая-то кошмарная, крошечная подтасовка, подмена всех желаний, чувств, мыслей, и там, где мы (он думал о себе во множественном числе) осознаем, что чего-то хотим, то уже и не хотим, а хотим лишь, пока не понимаем еще, что с нами происходит. Что желание — и не есть желание в том смысле, в котором можно рассказывать о нем и изложить его, а что-то совсем другое. Что желание теряется где-то на полдороге и чуть ли не при первом шаге... И даже безрассудство — вовсе не доказательство силы желаний и чувств, а лишь — свидетельство нашей к ним неспособности. Одна лишь видимость решительности, на самом деле — полная растерянность перед мутностью и неясностью собственных ощущений. Ах, что так — что этак... Верность любого обобщения испугала Монахова.

Когда, в детстве, были реальны чувства — нереальны были люди: они были носители, объекты, они были — образы. Когда

опыт придал людям реальность в наших глазах: вот они перед нами, объективные как есть, объемны, без суда,— нереальны стали наши чувства. Теперь чувство — стало образом, образом чувства. Чувства нет, а есть его образ: не любовь — образ любви, не измена — образ измены, образ дружбы, труда, дела и т. д. И человек с опытом стал еще меньше разбираться в этом мире, чем ребенок, еще более запутался в нем из-за нереальности собственных чувств. У него появился выбор там, где раньше чувство не предоставляло выбора: любит — не любит, сделать — не сделать, поступить — не поступить... И оба варианта, по опыту, вдруг оказались однозначны, равновеликий выбор...

Он обводил потрясенным взором призрачный объем неожиданного помещения, и оно казалось ему удивительно подходящим, заслуженным и оправданным в своей неправдоподобности. «Со мной уж только неправдоподобное и должно происходить...» — горько усмехался Монахов. Господи! Как мучителен опыт! Не приобретение его, не рождение, нет — сам опыт, его наличие. Какая нечистота!

Почти так думал он, гремя яблоком, и оно грохотало, когда он его жевал, грохотало в его голове, как камнепад, и лишь постепенно, внушением, убедил он себя, что это не всеобщий грохот, от которого все просыпаются и вскакивают с постели и несутся с криками ужаса и непонимания, а лишь его собственный, маленький, внутренний грохот, в полной, глухой тишине. «И мы в тиши...» — какие-то строчки вспомнились ему, забубнили в нем. «И мы в тиши та-та-та-та...» Откуда, чьи?.. Они очень нравились ему когда-то — это он вспомнил,— волновали его. Хотя он их не понимал тогда. Будто своей непонятностью они ему нравились...

И мы в тиши полураспада
На стульях маленьких сидим...—

только и удалось вспомнить ему теперь. И тут холодный восторг понимания, полного понимания этих невнятных строк поразил его. Надо же! Как бы ни был далек поэтический образ, чужд и странен — он прежде всего всегда конкретен, даже не только точен, а именно предметен до чрезвычайности. Вот он, Монахов, сидит на маленьком стульчике, в такой уж тиши... У-ди-ви-тельно! «Это о нем, именно так, правильно, так...» — с унижающим восторгом думал Монахов, слезы навернулись ему на глаза. Тогда он эти стихи помнил, но не знал, а теперь знает, но не помнит... Слезы наполнили ему глаза и тут же кончились, хотя ему так хотелось плакать безудержно, навзрыд — но уже не получалось, уже прервалось. Разучился... И он лишь длил их, две сладкие большие слезы, боясь сморгнуть.

Сверху заплакал ребенок. Монахов взглянул на потолок, и слезы скатились. Снова раздался голоса, возбужденные, они росли, приближались. Один был Асин, убеждающий, другой — неприятно простой, подозрительный. Монахов больше не пугался, не замирал, и сердце его не екало — размеренно билось его сердце, и, даже если бы сейчас его арестовали и повели скованного, он, казалось, не возражал бы.

Но Ася переубедила, шаги, голоса стали удаляться, и тогда в Монахове что-то испарилось и исчезло, как то же облачко. Он смотрел в окна — они, пожалуй, посветлели: стулья и кони выплыли из угла и потеряли в таинственности, становясь просто скучными, облезлыми. Он чувствовал себя ждущим словно бы с температурой в больнице, чтобы получить бюллетень, ждущим с пустотой и апатией начинающегося гриппа, чтобы уйти после

всех этих ненужных осмотров и записей и тихо лечь и попытаться уснуть. Впервые, быть может, за этот день зашевелилось в нем и опасение перед домом, поздним возвращением и объяснениями. Правда, жена в больнице, но тем более ему должно быть стыдно и неловко — однако эти совестливые веяния он прогнал. Он еще отодвигал предчувствия расплаты и даже подумал: за что и какая тут может быть расплата? Просто объяснить ничего никому по правде невозможно... Ну, совет что-нибудь: жена-то в больнице, а мать его не выдаст. Тут же он морщился от подобных своих соображений, но беспокойство росло, и озабоченность, как все это кончится и утрясется, кружила над ним и снижалась.

И когда Ася снова вошла, они посмотрели друг на друга в этой предрассветной, казенной и нетаинственной комнате изда-лека, отчужденно. И лишь секунду какою-то было Монахову неприятно, что и Ася — тоже, что в ней тоже кончилось, словно этих перевязанных ленточкой писем было все-таки жаль, словно, давно потеряв Асю, все еще мог он ее терять... Но это лишь на секунду — он тут же внутренне с нею согласился, и так было даже удобнее ему и быстрее.

— Ты знаешь, — вяло сказала Ася, — там стерва одна что-то заподозрила... Придется тебе сейчас уйти. Ну дождется она у меня! — Тут у Аси в голосе появилось чувство. — Пошли. Надо быстро пройти, пока она снова не высунулась. Я ее в кладовку упрятала...

— Как упрятала? — равнодушно удивился Монахов.

— Ну, послала... Ну иди же!

И они пошли, и путь был куда короче, чем показалось сначала Монахову. В дверях Ася сказала равнодушно:

— Ну, ты позвонишь?

Монахов помялся ответить.

Тогда, на секунду, взгляд Аси стал как-то глубок и внимателен, в нем блеснул печальный огонек усталого ожидания и погас.

— Позвоню... — невнятно сказал Монахов.

— Позвони, слышишь? — вдруг звонко и отчаянно зашептала Ася. — Позвони обязательно! Слышишь? Слышишь? — трясла она его, будила...

— Позвоню... обязательно... — сонно сказал Монахов.

И вот дверь за ним закрылась, и он степенно пересекал площадку перед домом, сдерживая внутренний бег, а когда свернул за куст, где на секунду увидел себя стоящим с туфлями в руках, вздохнул изо всех сил и побежал. Он бежал через парк, уже светлевший в темных своих деревьях, словно кто-то гнался за ним, и даже действительно мерещились ему бандиты и хулиганы, которые его сейчас остановят и прирежут. «Справедливо, справедливо», — приговаривал он себе на бегу. И лишь выбежав из парка и столкнувшись с бессонным постовым, в нерешительности посмотревшим на него: остановить или не остановить! — лишь тут словно споткнулся и перешел на шаг, трудно дыша. Из-за поворота, повизгивая, выехал ремонтный трамвай, это было Монахову по дороге, и, не ожидая от себя такой дерзости и прыти, Монахов улыбнулся милиционеру, подмигнул и вскочил на подножку. Милиционер погрозил кулаком — и все.

Монахов ехал домой, и ему легчало. Его мотало на рассветном, выплывающем из пара мосту, и он радостно глядел на мир. И то, что могло показаться ему неудачным приключением, вдруг вполне устроило и даже обрадовало его и чуть ли не исполнило удовлетворения. «Какое счастье, — подумал он, — что ничего не произошло». Так ему нравилось то, что он не достиг сегодняш-

ней столь владевшей им цели, что это случайное воздержание и неожиданная чистота чуть ли не начинали казаться ему собственной заслугой, побежденным искушением и подтверждением его высоких нравственных качеств. «Ничего не произошло, ничего не произошло», — повторял он себе, и лишь на мгновение мелькнуло в нем, что в этом «не» заключено что-то безнадежное и последнее, и нечем тут гордиться... но все быстро перешло на размышления, что же сказать матери, и ничего не шло на ум. «Я устал врать, не хочу», — почти самодовольно думал тогда он, прибавляя и эту свою сейчас неспособность придумать оправдание к удавшемуся сегодня воздержанию. «Как бы я пошел в больницу, как бы посмотрел ей в глаза...» — удовлетворенно думал он. И довольство собой, своей женой, своей жизнью, которая, не получаясь и распадаясь каждый день, все-таки получается в сумме этих дней, наполняло его. «Надо бы все-таки что-то придумать», — снова подумал он, спрыгнув с трамвая. Тут уже было совсем близко до дому, и вдруг его осенило, что можно и не придумывать, а рассказать все как было. Почти все. А если бы было... «Я бы так не мог», — подумал он.

«А что, может, я еще и позвоню...» — думал он дальше, почти с легкостью, как под горку, и, придавая себе вид окончательной бодрости и наглости, поднимался по лестнице. — Может, мы и встретимся».

Пока он топтался у двери, доставая ключ, и лез им в замочную скважину, дверь распахнулась, и на пороге стояла растрепанная бессонная мать.

— Ты? — сказала она холодно.

— Я, — сказал Монахов, потупляясь, и бодрость слетела с него.

Мать, пятясь, отступила в прихожую, и Монахов робко следовал за ней, нежно прикрывая за собой дверь, чтобы не шуметь. И боялся поднять глаза, зная взгляд, который был сейчас устремлен на него, его холодность и поджатость губ.

Мать перестала отступать, и Монахов замер перед ней.

— Где ты шлялся? — сказала мать.

Монахов молчал, чувствуя, как в нем нарастает холодное и жесткое нахальство.

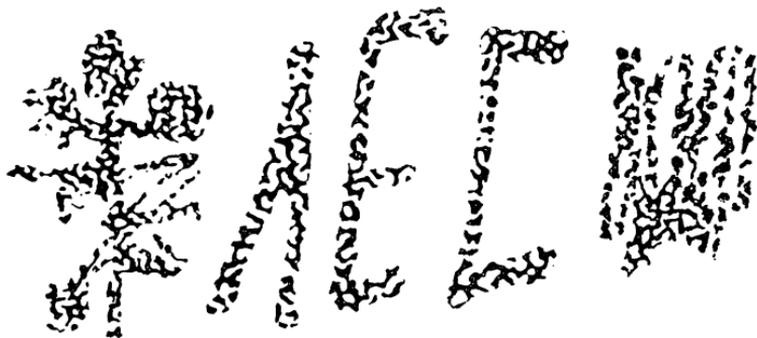
— Мальчик... — вдруг всхлипнула мать, и Монахов изумленно и испуганно, медленно начал поднимать взгляд. — Мальчик... — всхлипнула она, обнимая его своими легкими, как сухие лепестки, руками. — Дай я тебя поцелую... У тебя мальчик!

Монахов смотрел с ужасом.

— Ну же! — вскрикнула мать, целуя его в бесчувственную, устранившуюся щеку. — У тебя сын!

— Почему сын? — сказал Монахов.





*Дни человека, как трава.
Как цвет полевой, так он цветет.
Псалтырь 102:15*

I

— Нет, меня не надо провожать,— сказал Монахов, еще раз легко обнимая мать, припавшую к его груди как пушинка, и, поколебавшись, добавил для окончательности: — Меня проводят.

Мать покорилась.

Отец его спал одетый, забывшись очередным сном: закинув голову, приоткрыв рот; нос его заострился, кожа впалых щек была белее длинной седой щетины... Монахов склонился над этим пейзажем щеки. Силы жизни как-то просторно клокотали в отце, словно слишком свободно помещаясь и просясь наружу из брэнного, лежавшего поверх одеяла, словно не проминавшего уже постели тела. Монахов склонился к отцу с бережным поцелуем и сумел не подумать э т о г о.

И он уже уходил, разметавшись во все стороны: с тяжелым портфелем в одной руке, с корзиной фруктов — в другой, полы его плаща завивались вокруг них — он путался и спотыкался, но не падая, а как бы взлетая. В сенях он натолкнулся на кадку — ковшичек с досточки упал в воду: «Ничего, ничего», — сказала мать. «Поцелуй жену...» — сказала она не вполне уверенно.

На это можно было уже не отвечать.

— Фрукты разложи сразу, как приедешь...

Он еще раз клюнул мать в лоб, благо обнимать не мог — руки заняты, вышиб пинком дверь и уже мчался с той же стремительностью, как неделю назад стремился сюда. В конце улочки оглянулся в последний раз — на крылечке мать... Улочка стала вдруг выпуклой, как в линзе — короткий фокус слез — укоротилась: особенно глянцево, вся в отдельных листиках, глянула из-за заборчиков листва; как на открытке, засинело небо в конце улицы, словно был там край земли и обрывался — матушка на крылечке...

Так эта картинка остановилась и за углом исчезла; Монахов вышел в другое пространство и вздохнул с облегчением, чуть смутившись своей искренности и удивившись силе любви, восстановившейся в нем.

За углом был уже другой город: гремел трамвай, медленно и тупо мчались такси, достраивались — гордость города — двадцатипятиэтажные коробки: универмаг, универсам, университет — живите сами... И тут Монахову везло — вопреки ташкентским

правилам у его ноги освободилось такси; он плюхнулся, расправившись и поважнев.

— Аэропорт? — спросил водитель, упрятав корзину в багажник.

— Прямо, — сказал Монахов.

Машина рванула. Ниточка, связывавшая его с родительским домом, натянулась и лопнула.

* * *

Монахов собрался в Ташкент совершенно неожиданно. Неожиданным было то, что он не только собрался, но и впрямь поехал. То есть он так давно туда намеревался и так давно все не ехал, что не поехать еще раз не составляло уже и переживания. Так он мог и никогда не поехать. Скорее всего как-нибудь на недельку приехала бы мама. Отца он не видел три года.

Как, ужели три года? Никак бы и не подумал, что три... Будто вчера, а если уж не вчера, то, по крайней мере, десять лет прошло, а не три. Чуть какая-то. Годы эти прошли, как барабанная дробь, снаружи, сверху. Кто-то ходил по крыше, шарил, зажигал фонарик. Монахов переворачивался с боку на бок в неточном сне. Развод, диссертация, автокатастрофа, молодая жена. Никто из них не умер... Вьеденное яйцо. Середина. Седина.

Но и вот еще оказалось что: пока шла его жизнь, прошла жизнь и его родителей — несложная такая история под названием «вся жизнь»... Войну — полумладенчество-полудетство Монахова — провели они всей семьей в Ташкенте, но и после войны отец все что-то строил в Азии, какие-то громоздкие многолетние сооружения... Там и подал в отставку. Что-то у него там, смутно, было: собственный домик, чуть ли не тайная семья (до сих пор Монахов толком не знал: оба его родителя сумели прохранить сквозь его юность гробовое молчание). Там отец и застрял, привыкнув якобы к климату. Но вдруг (именно этих двадцати лет Монахов и не заметил...) — постарел, заболел, остался один, чуть ли и домик от него не отсудили... Мать он ни о чем не просил, но сын их, почти нынешний Монахов, перебрался к тому времени с Петроградской стороны в столицу, и она, старуха, так и не простив, вдруг снялась и поехала к отцу, не к сыну.

В последний раз она навещала сына...

Поэтому Монахов мог сказать новой жене, что взялся за эту командировку исключительно ради родителей; родителям — что он выхлопотал себе командировку, чтобы приехать к ним; начальству — что он никогда бы не поехал, если бы не понимал всю сложность и важность дела; одному себе ему нечего было сказать: покидал он с удовольствием, но и ехать не хотел.

Однако, повернув в родительский проулок, он такой вдруг ощутил непроглотимый, но и неисторжимый ком в груди, но он не задохнулся и не заплакал. Мама всплакнула только, очень быстро и сухо; отец закашлялся, истратив в слабом объятии всю свою силу на ласку, и лег, равнодушный, будто сын и не уезжал никогда. Мама начала кормить — ни плакать, ни выражать чувства ей стало некогда. Как они постарели!

И уже получалось так, что — как правильно он, Монахов, сделал, что добился своего и приехал. Эта жертвенность, с которой он позволял любить себя, была знаменательна. Она породила в нем чувство столь острое, что почти равное любви. Ему все время хотелось плакать. Ташкент — эта его полуродина — он ее не узнавал. Не удавалось Монахову стать, хоть и на секунду

ду, тем босоногим и белоголовым, каким он здесь был. Не было уже того Ташкента. Недавнее землетрясение, как бунт времени, окончательно погребло его детство, дав понять, что место для родины — еще или уже не родина. Не было того Ташкента — и это же надо! — родители его жили в чудом уцелевшем закоулке. словно родина — это они. Из своих старческих сил они удержали воспоминание вокруг себя столь плотно, что все и уцелело до поворота... Старик был все-таки очень плох. Улочка растаяла бы, если б их не стало. Вот это-то, более или менее отчетливо и удивленно, и думал Монахов, глядя на стариков. И ему хотелось плакать — знал бы он, что над утратой своей любви. Он это понимал, однако, так, что, как же он все-таки любит и как нечего с этим делать, как ничего не поделывать, и какое же это глубокое и нетребовательное отчаяние — любовь. Оттого казалось ему это его отчаяние — прекрасным. Господи, каким же я стал черствым!..— сетовал он на себя в этой связи.

Разлука их тут же и кончилась: как-то он быстро наелся и уснул, как провалился, на маминой кровати, предоставив ей любоваться собою спящим — классическая картина! — и переводить взгляд на мужа, то есть теперь лишь на отца своего сына... Спали они в этом ее, мамином, пространстве параллельно, головами в противоположные, впрочем, стороны. Но даже позы приняли одинаковые, будто молодой ее муж и старый ее сын... На секунду, когда и не видел никто, лицо матери стало жестоким.

Но, согрешив, искусственно нагнав на лицо просветление, она придумала себе работу, пока все спят. Там она сидела, на кухне, перебирая крупу, которую уже второй месяц все никак не могла собраться перебрать. На сына не смотрела...— единственный труд для нее...

...Первым, пережив в кратком сне приезд сына, помолодев, проснулся отец. Сын слышал сквозь дрему его скрип и кряхтенье, понимал, что наконец дома, и не хотел просыпаться. словно бы у него был еще шанс проснуться на несколько лет раньше, когда никакого еще такого, как сейчас, Монахова не было. Не проснуться, однако, было невозможно: отец нарочито брэнчал бритвенными принадлежностями, грохотал комодом, доставая белье... Да, не столько было непривычно Монахову проснуться в доме родителей, сколько собою: он привыкал. «Думает предстать передо мною в лучшем виде...» — не открывая глаз, Монахов все видел, знал каждый шаг своего отца: вот зашуршала половая щетка — значит, отец устал от предстоящего мытья, переключился на «полезное» дело — подметать чистый пол... Отец все тот же, сын не тот — прикидывается спящим... Мать, конечно, сейчас не дышит на кухне, чтобы не разбудить сына; застанет отца с его метлою, будет скандал... Монахов отчетливо представил себе и мать, словно видел сквозь стену: там она сидела, придумав бесшумную работу, подслеповато перебирая крупу, которую вот уже месяц не находила времени перебрать — теперь и время нашлось — мать вздохнула... Шуршание щетки стихло — и это отец устал. Щелкнул телевизор и загудел согреваясь. Телевизор у отца плохо включался — на эту тему он был готов поговорить с сыном, но тот все еще прикидывался спящим. Тишина. Больше ему нечем себя занять. «Сейчас не выдержит — заговорит...» — ухмыльнулся «во сне» сын.

— Алеша! — позвал тогда отец достаточно громко.

Сын открыл глаза, придав лицу незлое выражение.

— Ты спал? — изумился отец. Он стоял посреди комнаты, опираясь на щетку.— Прости... Я думал, ты проснулся.

Монахов-младший умилился этой детской хитрости, улыбнулся от родного чувства.

— Ничего. Я дремал,— бархатно сказал сын.

Экран осветился, и замелькало рваное, острое изображение.

— Вот, пока не согреется, все так и будет...— скорбно сказал отец. И пока аппарат грелся, отец рассказывал о его коварстве: — Вот если сельскохозяйственная передача — прекрасно показывает. Как парное катание или конкурс балета, так и совсем перестает работать...

Мастера все — жулики, халтурщики... Разговор пошел о том, какие стали люди — совсем не такие...

Сын охотно с ним согласился.

Это уже отца не устраивало: он стал защищать время, только что его обругав. Нет, время ни при чем: а космос, пылко говорил он, а прогресс?..

Сын рассердился: какой, к черту, космос, когда...

Мама застала их спорящими. Пришла на громкие слова.

— Разбудил, конечно,— сердито сказала она отцу.— Он и не отдохнул совсем.

Отец готовно вспылил.

— Да нет, мама, я совсем выпался,— фальшивил сын-миrotворец, взглядывая на готового ошетиниться отца.

— Полчаса всего и поспал...— Мать досадовала: она застала их так, будто сын никуда никогда не уезжал, будто все три года, что отец его не видел... будто этих трех лет и не было. Отец з а б ы л, что три года сына не видел.

— Ну хорошо,— победив себя в очередной раз, бодрым голосом сказала мать.— Прими душ — и обед готов.

— Да что ты, мама! — с притворно-радостным ужасом восклицал Монахов-младший.— Я уже на день вперед наелся... и часа не прошло.

— Оладьи... ты их так любил! — соблазняла мать.

Услышав про душ, Монахов-старший решительно перекинул полотенце через плечо.

— А тебе как раз сейчас душ принимать, когда Алеша собрался мыться! — снова взорвалась мать.

— Хорошо, мама,— вздохнул Монахов-младший.— Душ — потом.

Монахов-младший жевал оладьи и думал о том времени, когда он их любил. Он его не помнил.

Входил Монахов-старший и в награду за насилие над собой, за подвиг бритья и умывания, выглядел молодцом, глянул на сына этаким орлом-бодрячком.

— Я бы тоже вот этих штук поел...— снисходительно-шутливо говорил он жене, которая, классически подперев щеку, наблюдала жующего сына.

Мать поднялась, не скрыв вздоха.

— Ты же их никогда в жизни не ел!..

Изображение наконец встало на свое место. Сын поглядывал в телевизор, а отец рассказывал, что он видел накануне, поэтому не видел, что шло сейчас — тот самый конкурс балета, до которого отец был охотник.

Мать неприязненно косилась на отца.

Отец, конечно же, «нарочно» ел с ножа, оладья скользила, отец успевал ее поймать снизу и зажевывал целиком, продолжая, однако, рассказывать вчерашнюю телепередачу.

— Дай хоть сыну посмотреть телевизор...— сердилась мать.

А сыну вдруг становилось так тепло у этой чуть теплящейся, но и не затухающей семейной ссоры, словно у костерка, словно

разморило; он потянулся сладостно и зевнул. Мать уже взбывала подушку...

Так он спал и ел целый день. Мать, как девушка, проходила неслышной тенью из комнаты на кухню, из кухни в комнату, бросая холодный взгляд на продолжающего рассказывать все виденное и прочитанное Монахова-старшего, приглашая помочь ей на кухне Монахова-младшего...

— Знает же, что нам надо поговорить...— сетовала она выходявшему к ней сыну.

— Чем тебе пособить? — спрашивал образцовый сын.

— Да все уже, не надо. Посиди здесь. Расскажи. Чаю налить?

Сын пил чай, а рассказывать ему надо было про свою чуждую жизнь: про столицу, про карьеру, про новенькую жену и молодую квартиру. И все это стало так далеко для Монахова-младшего, как далеко и было. Словно эти три года вынимались из него, как ящик, целиком. И тогда оставался он, будто не уезжал и не расставался, только с небольшой прямоугольной темной пустотой внутри (где ящик). «Как они?..» — все вертелось у него спросить. (Мать поддерживала с прежней его семьей свои, отдельные от него отношения...) Но все не спрашивал. Как и мать не спрашивала же: «Ну как ты? доволен? счастлив?» Иначе зачем было затевать... «Я тебя в честь отца мужа назвала, а хотела — Митя...» — вздохнула мать. «Может, Митя и был бы счастливее...» — улыбнулся про себя сын. Так они и говорили не о том, ради чего уединялись, а о том, что вместе знали: опять о том же отце и говорили. Как сдал, как отошал, как не спит ночью, как не ест ничего, как характер, всегда такой, а совсем невыносимый сделался. Ничто не изменилось, и время опять не прошло... Монахов выглянул во двор: держась за заборчик, синей тенью прошла умершая год назад от рака тетушка — он отчетливо ее увидел: ничуть не изменилась, как раз такую он и видел ее в последний раз. «Совсем не маялась, во сне...» — сказала мать. «Вот штука — расстояние! — подумал в сердце сын.— Три тыщи километров равны трем прошедшим годам... Отъехал в сторону, а оказывается, вспять... домой вернуться...»

Тут отец приходил на кухню — «мешать».

— Алеша, иди, передача интересная, про зверей...

И начинал пересказывать, что сейчас видел. Мать вздыхала, Алеша шел, смотрел телевизор, а отец все рассказывал про начало передачи, пока она продолжалась и заканчивалась, его не интересую.

— Представляешь,— говорил отец (уже он что-то другое рассказывал, перескочил), — лес!..— И глаза его загорались от чувства, большого и абстрактного — ни к чему.— В лесу, оказывается, не просто много деревьев, а лес — это сообщество!

— Ясно, не просто...— усмехался сын.

— Так вот,— пропуская иронию мимо, продолжал отец.— Они все корнями связаны, перепутаны и представляют единую систему. Именно — систему.

— Ну и что? — сказал сын.

— Вот, например, дерево умирает, умирает, а как умрет — на следующий день сухое стоит. Загадка, думают ученые. А оказывается, как только оно умрет — лес сразу из него все соки в свою систему забирает. Потому и сухое сразу же... Вот и выходит,— сказал отец, прослушав молчание сына,— лес — это не много деревьев, а коллектив, общество, и каждое дерево — не само по себе, а только вместе со всеми, и во всех нуждается...

— Мне кажется, ты что-то перепутал, — сказал сын. — Это звучит ненаучно.

— Может, я и не настолько квалифицирован, как ты, — готовно обижался отец, — но еще способен точно передавать смысл услышанного...

— Обязательно надо человеку свое все на свете навязать... — процедил сын и откинулся навзничь на мамину подушку и глаза для убедительности прикрыл — устал от человечества.

Так он спал и ел, ел и спал, и к концу дня так успокоился, что ему показалось, что прошло несколько дней, а не один, что он тут давно, вроде и не уезжал... А состарился со стариками вместе в один день на три их года.

Поэтому утром, с юным аппетитом сглотав мамин завтрак (там, у себя, он столько и в обед не съедал), чмокнув маму в лоб, усмехнувшись для нее на спящего отца, он с какой-то даже радостью вырвался на улицу, как на свободу, и устремился готовно и азартно по столь неприятным и неинтересным (как ему казалось в столице) командировочным своим делам.

2

— Теперь направо, а потом снова немножко направо...

— Как улица-то называется? — недовольно сказал таксист.

— Вот именно, что не знаю, — возбудившись, говорил Монахов. — Показать могу.

Они еще немного поколесили, пока Монахов вспоминал родителей с непонятной, все возрастающей тоской. Размеры предательства Монахова все росли: господи! матери каждый лишний час с ним дорог и нужен как последний, — а он вот катит вместо неотложного аэродрома неведомо куда!.. «Ты меня не провожай...» — тоже мне. И ведь не хочется ему совсем... А как на крючке. Пока сомневался, пока думал, что вряд ли эта затея удастся, — ловкое, хитрое, шаткое выстроил сооружение, прямо шпионаж: жене позвонил, что не уверен, но, может, дня на два задержится: «Ты меня не встречай»; матери — что обидно, но, кажется, его срочно отзовут дня на два раньше: «Ты меня не провожай»; а ей, ради чего все, — что очень-очень вряд ли, но постарается, может, на денек и получится задержаться, но на день ее рождения он все равно остаться не сможет — какая разница, если они и отметят его на день раньше, вдвоем? От одного, даже мимолетного, приближения представления, какую же он раскинул паутину, делалось головокружительно пусто, и тогда, как ни странно, он плел ее с большей энергией и окончательностью, будто наконец и решил — упрочал оба варианта: и что, пожалуй, он вынужден скорее уехать, и что, наверно, ему удастся задержаться. Щель между двумя возможностями становилась все отчетливей, зияла. Чем больше он сомневался, чем более был уверен, что не стоит, тем скорее где-то вдали, уже за спиной, знал, что все так и будет, вопреки.

Лишь в самый последний момент, быть может, уже сидя в такси, а шофер спросил: «Аэропорт?» — именно в этот момент он и прыгнул через эту щель и оказался на том краю, когда решительно назвал ему ехать в противоположную сторону. Как всякий слабый человек, был он смел как раз в опрометчивых поступках, в них не отступал, боясь прослыть именно тогда, когда любой решительный как раз бы и передумал и отказался с легкостью. Вот что он забывал, Монахов: что никто его в эти ответственные моменты не наблюдал, никто сверху не свещи-

вался, приложив ладонь козырьком: а что это наш Монахов, струсит или нет? Того не понимал он, что если уж стоит вопрос о трусости, то оба решения выйдут не от смелости — смелости требует лишь третий путь, о нем-то никогда не вспомнят, а выбор — любой труслив. Смелее уж — как получится. Оттого нерешительность — всегда до последнего момента, чтобы прыжок этот выглядел как бы помимовольным, подделанным под судьбу.

Сейчас он и под автоматом не сказал бы шоферу: «Поворачивай назад». Лишь раскаяние, вспухание вины, тень возмездия, неясного по форме, вдали, но именно за вот это, за сейчас, то есть именно страх владел им. И он бы его не показал. (Все-таки в тот момент, когда мы что-либо себе позволяем, мы прекрасно знаем, что нам за это будет, что мы не уйдем, не увернемся, и лишь когда нам воздается, мы забываем напрочь, чтобы сказать: за что?) Раскаяние набухало — тут и встали перед ним лица стариков, как живые...

На отца как следует не посмотрел, не попрощался... Кожа на дне седой щетины, более ее белая, встала сейчас перед его мысленным взором крупно: как речной ил между осоками... Почему-то именно берег реки, удочка, пасмурно, отец рыбу ловил — такая сплошная ровность беловатого ила между стеблями седых осок... Монахов сморгнул вид этого озера. Теперь на него смотрел матушкин взгляд, девичий от укоризны... Как это можно делать перед собою вид, что другие ничего не видят, не думают, не замечают, раз вида не подают? Как раз они все и знают, когда вида не подают. Что ж, она и на свете не жила, матушка? Он разве не ее сын, не е г о? Отца-то она знает, видит. Может, за то и мужа не любит, чтобы сына продолжать любить?..

Всего три дня и побыл, четвертый... Что она чувствовала, когда каждую фруктинку в бумажку заворачивала и опускала в корзину аккуратно, как яйца, говорила: только не забудь разложить сразу как приедешь (не прилетишь, а приедешь...) О!.. Шофер, гони назад! Но он этого не говорил. Это у него только внутри выло — снаружи он был гладок, как печь. Но печь и не согревает дрова, она их сжигает...

Да и в эти-то три дня, что он сделал, кроме того, что милостиво ел и с отцом не особенно пререкался?.. Только сейчас, в машине, и прожил-то он наконец эти три дня, в положенной им силе: все видел, все понимал, все чувствовал. За эти десять минут и прогорели в нем три прошедших дня, как, в свою очередь, в те три дня прогорал в нем его внезапный из дому отъезд, которого он там, в Москве, так и не сумел почувствовать: чем острее и последней момент, тем тупей и самодовольней улетающий Монахов. Вплоть до отрыва от земли, вот когда защемило, вот когда засосало... «Да что ж это такое? — возмущался сейчас Монахов.— Завтра буду жить сегодня, а сейчас-то я где?»

С этой здоровой мыслью он как раз и подъехал к тому дому, адреса которого не помнил, а мог лишь «показать».

Непоправимость оведала его лицо, когда он, оглянувшись без толку по сторонам, посмотрев в небо, словно там уже набегало возмездие, вытаскивал из багажника корзину с фруктами — тяжелый упрек.

— Монахов! Ах, Монахов! Все-таки приехал! Монахов, Монахов... — Вот сколько бы раз подрял ни произнесла она слово «Монахов», все по-новому, словно язык такой есть, из одного слова состоящий, на котором все, однако, высказать можно, самые тонкие понятия...

Благодарная вышла секунда: не зря все-таки... вот кому дей-

ствительно надо было, чтобы он приехал... вот безупречность-то какая!

— Монахов... Монахов!..— отбирая у него корзину, как у де-вушки, нараспев повторяла она.

Не зря-а-а...

* * *

Все это все-таки странно получилось. Никак не ожидал...

Наверно, он здорово наелся и выспался у матушки в первый же день — очень энергично принялся за дело. Два чувства ужи-вались в нем, когда он сюда ехал, два ожидания: одно, что вот он припрется к людам, которые худо-бедно, но делают у себя до-ма свое дело, будет путаться у них под ногами, давать им на-ставления и советы, кому-то подстроит неприятность, кого-то подведет под разнос, а они будут должны сохранить вежливую мину, кивать и не понимать того, что он им будет объяснять и инструктировать, он будет злиться, что они своего же блага не хотят, а они с облегчением вздохнут, когда он уедет, все сомк-нется, как не бывало, новые методы не будут усвоены, а старые будут продолжать, неэффективно, но действовать; другое, что он из Москвы, спец, кандидат, фирма, как нож в масло, входит в проблему, все наконец очнулись, задвигались, ожили, хоть на время, какой-то просвет, что-то струнулось, а вдруг и — чего не бывает? — наконец и дело пошло.

Опыт его командировок подсказывал лишь первое и не оп-равдывал второго. Однако... то ли тщеславие не кончилось, то ли молодость не прошла.

Он, по-видимому, хорошо выспался и наелся — энергия из него перла и успевала пропереть через охлаждения и ра-зочарования так, что вся эта остратка при столкновении с чу-жим миром и делом не успевала произойти в самом Монахове. А вот с этим уже все считались, и где-то, за ним следом и все об-гоняя его, бежал слух — и все уже чуть ли не вскакивали, когда он входил.

Дело-то было ему самому безразличное, он в нем замешан не был, престиж его фирмы, однако, должен был быть защищен, а вот для тех, к кому Монахов прибыл, дело-то было очень серьез-ное.

Рассказывать это скучно. Допустим, в Ташкенте строился некий объект, спроектированный институтом, в котором рос и выдвигался Монахов. В одном из цехов был запроектирован но-вый тип перекрытий, до этого не употреблявшийся в отечествен-ной практике. Так вот, это-то перекрытие обвалилось, оборвав две туземные жизни. И это еще «к счастью»: был обеденный перерыв — могло быть много больше. А вы представляете, если бы такое случилось, когда цех был бы уже пущен, во время ра-бочей смены?! — тон начальственного разноса, тем более иск-ренний, что начальству-то влетает без разборю, по ведомству.

Монахов себе чувствовал сверху, и было ему уютно, что он к этому делу отношения не имел, а понимал достаточно, больше других. От того, как ему сразу стало все ясно, а все остальные были напуганы и напряжены, з а и н т е р е с о в а н ы, ощущал он приятную свободу, словно передвигался в нарзане, а осталь-ные в клею. Это вот, что он и они находились как бы в разных средах на одном пространстве — было особо важное чувство. Даже жара была ему нипочем: чувствовал он себя сухо и остро, быстро — как раз туземцы и потели, под тяжестью,

спеленатые теснотой взаимосвязей службы и личной жизни. Удовлетворение собственным знанием, уверенность в своем деле, обеспеченная правильность, вытекавшие из одной лишь разницы квалификаций — доставляли Монахову простор и свободу, когда он и не потел, и все понимал раньше, чем ему объясняли, видел насквозь и дальше, еще и наблюдал неподвластные поведения и черточки окруживших его заинтересованных и зависимых людей, и даже себя успевал видеть со стороны, не в ущерб, а в помощь решительности своих прозрений и пониманий. Вот он чистой, сухой рукой (длинные пальцы) легко, чуть презрительно раскидывает пасьянс чертежей и докладных, пока ему без толку, короткопало тычут все одну и ту же бумажку, поясняя. («Понял, это понял», — снова отодвигает он.) И, разложив пасьянс, еще всего лишь разок тасует и говорит, отчеркивая (не ногтем, тупым концом карандаша): «А это что?» И — ах! — как становится ему понятно, что именно этого ему показать не хотели, что именно здесь надеялись, что не заметит, хотя знали уже, что заметит, конечно, заметит, но не так сразу... «И вот это», — отчеркнул он второй раз. А этого и они про себя не знали. Даже не сразу поняли. Только тот, короткопалый, виновник, — тот сразу понял. Тень жалости промелькнула даже в Монахове, зачерствавшем в этот момент от власти (не административной, а интеллектуальной, что слаще) — так схватился тот, чуть не за сердце. Этот короткопалый, в камилавочке, квадратненький, со сплошь золотыми зубами, главный инженер, а его черная «Волга» у подъезда ждала, и он ее Монахову предоставлял, а Монахов отказывался, и домой к нему отказался идти, в двухэтажный его особняк — никаких достарханов (а у самого Монахова ни «Волги», ни особняка — голова одна).

И выходило вот что: фирма его ни при чем, потому что все было рассчитано правильно, а при чем — вот эти темные, золотозубые воры, правильностью этой, по темноте или даже преступности, пренебрегшие. А выходил вот кто: Монахов в белом смокинге, посреди арены в свете прожекторов, который все это сразу вскрыл и теперь поглядывал холодно и гордо на всех, не различимых в темноте и забрызганности всем тем, к чему он никакого отношения не имел. «Нет, а вот это не его дело — квалифицировать просчет: по недосмотру, халатности или отягчающим обстоятельствам... Это — другие». Золотые зубы блеснули во рту, виновато, как дети. «Нет, — сказал Монахов, — а у погибших рабочих не было детей?»

И ведь просто так это сказал: никаких мертвых, никаких живых не было в его сознании в этот момент. Это был лишь непреодолимый довод правового (не правого!) сознания — и все. Вот вам и частный случай: поразительное бездушие порождает в человеке правота. Или — блеск в своей области. Или, так скажем, власть.

Однако чувствовал себя прекрасно, выходя из проходной, снисходительный, четкий, все сделавший... Последние канцелярские формальности (отметил командировку), последние прохладные рукопожатия: нет, отчет он напишет в Москве, копию, конечно, им вышлют, нет, очень тронут, понимает обычаи и традиции восточного гостеприимства, но вынужден отказаться (насчет достархана в загородном особняке), нет, пешком хочет прогуляться (отказавшись от черной «Волги») ... Тут не удержался от сдержанной (и ему человеческое не чуждо) полуулыбки: пройдет пешком — ведь это город его детства, в котором он так давно не был... Он прекрасно чувствовал себя.

«Нет, дело — это все-таки дело...» — сыто бормотал он в ритм легкому упругому шагу. Жмурился, подставляя лицо приятной жаре. И тут:

— Монахов! Господи, Монахов...

Вот о ком он не вспомнил ни разу. Это его вспышкой поразило, но он ничего не успел подумать...

— Ты, Монахов? — И тут же, утвердительно и счастливо, будто жмурясь от яркости, ответила себе: — Ты.

Монахов смотрел с удовольствием: эта восточная русская девушка так же легко, без сопротивления нравилась ему сейчас, как когда-то. Будто вчера расстались, три года сошлись в один день, как не бывало. Она замерла, как с разбегу, как на пороге, и так стояла неокончательно, неустойчиво, неуклюже — Монахов видел ее всю в этой остановке. Он бы сам себе не поверил — но то, что он чувствовал, была — радость.

Но он не успел и слова сказать. Их словно ветром сдуло. А на бегу что скажешь?.. Она еще раз десять выдохнула слово «Монахов», а он, может быть, один раз — «Наташа». Она бежала чуть впереди, тянула его за руку, можно было бы даже сказать, волокла, если бы Монахов не так охотно за нею следовал. И его нисколько не смущало, что все так на виду, что чуть ли не все прохожие останавливаются и замирают, пораженные, провожая их взглядом... Во-первых, он уже знал, что это, может быть, только ему кажется, а во-вторых, пусть завидуют!.. Да и как было не радоваться, что такое красивое, сильное, ясное существо любит его точно так, как и любила, три года любит его и не то, чтобы простила его тогдашнюю жестокость, а даже и не сосчитала ее... Ах хорошо! Прямо хотелось спросить на бегу: «Ну что ты такого во мне нашла? Ну что во мне такого?» Будто она наконец подсказала бы ему, чем он-то со всем своим нажитым барахлом внутри отличается все-таки от всех других людей, раз именно его она так любит, чем именно он-то так хорош?.. И получил бы он несомненный ответ: «Ты же — Монахов! Дурак ты, Монахов...» Ну, ну, Монахов запыхался. Но они уже влетели. Двор, подъезд, этаж, дверь... Монахов ничего не видел вокруг. Тут она еще раз, задохнувшись, успела произнести «Монахов...». Но это было уже все.

.

Вот как получилось. «День такой», — думал Монахов, утверждаясь в свежести бытия. Разглядывал узкую, как койка, комнату: ветка в молочной бутылке на подоконнике, вешалка с длинным платьем на стене, как картина, сам он на матрасе на полу... вот — достаток — радиола, тоже на полу, — снова умирался этой девичьей бедности.

Наталья разгуливала, как в раю. Показывала письма подруги, альбом, диплом — будто все это больше доказывало реальность ее существования, чем она сама, большая и живая. «Эту фотографию не смотри, вот эта ничего...» Монахов видел ее саму и смеялся, довольный. Так она быстро жила — немного всего у нее было и все было показано. Так она стремительно проживала жизнь без него — от разлуки до этого мгновения. Чтобы сошлось. Чтобы она оказалась вся с ним...

Монахов — вполуха, вполглаза: все это были подтверждения одного и того же: любит... Наталья ему нравилась. Он имел теперь неоглядную возможность убеждаться в этом: пожалуй, она ему нравилась всегда. Именно она. Монахов был поражен этим открытием: что, будь он свободен (нет, не просто не женат — он не то имел в виду...), будь он самим собою, а не тем,

чем он стал, не тем, кто кажется всем, и ему самому, Монаховым, не тем, кого в нем хотели увидеть и увидели, да и его убедили... Так вот, будь Монахов таким неоспоримым, безвоздушным собою, то Наталья бы и была именно тою, его женщиной, которая суждена ему, которую он принял бы без сомнения, как принадлежность себя себе, один одному... Что ж он зевал? что ж он себе не верил? что ж он не знал, что он именно он и есть? Ему нравилось в Наталье все, и ничто не противоречило, все было в самый раз: и монгольская тяжесть в лице, и неуклюжесть, даже вульгарность... Он представил себе, что сказали бы о ней бесспорные красавицы его жизни, с оценками которых (главным образом, себя самих) он так неукоснительно считался, что и не подумал хоть раз посчитаться с собственным, так и не развившимся вкусом... он легко это себе представил: и гримасу, и яд женской критики, миллиграмма которого хватало ему на убийство того, что ему нравилось... Ему показалось, что если бы тогда — было сейчас, а сейчас — тогда... то у него бы хватило сил посчитаться на этот раз именно с собою. Но было необратимо поздно. Поймав его нежный, элегический взгляд, Наталья увлеклась собственной жизнью: была, оказывается, и ее жизнь, то есть то, что рассказать можно... Монахов пытался разгадать, объяснить себе ее привлекательность, но вот она-то и была столь бесспорна для него, что объяснить не удавалось. Чем старательней он разымал ее черты, тем более непонятым оставалось целое: ни одной правильной, ни одной красивой черты не находил он, разве кожа... Кожа, конечно. Он вздохнул. Да, ничего особенного — соединено уникально! Будто поведение и внешность были от разных людей... Порознь все было обыденно, могло бы принадлежать и другим, даже встречалось Монахову порознь прежде — вместе, в таком контрасте: лицо и жизнь лица, голос и смысл произносимых им слов, сильное красивое тело и неровность, непринадлежность ему, как бы случайность движений... — все это рассыпалось, противореча представлениям, но было само в себе, так просто, естественно и убедительно, что — именно так и правильно. Внешность одного, а душа другого человека... Будто Монахов всю жизнь ошибался, раздавая порознь людям эти черты, а теперь, с опозданием, наконец увидел, кому они все первоначально принадлежали. Будто пришлось ему всю жизнь встречать исключения и неправильно обобщать их и лишь теперь, отменяя напрасный опыт, столкнуться с их первоисточником...

Наталья споткнулась, повторившись: жизнь ее закончилась новой встречей с Монаховым. И была она — как бы вся, больше ничего. Монахов одиноко возвышался в пустынности ее жизни...

— А это мне Ленечка подарил...

— Какой Ленечка?

— Ну господи, Монахов! — нетерпеливо, даже сердито, воскликнула Наталья. — Как ты слушаешь!.. Один есть Ленечка. Ну такой, на утенка похожий, ты видел...

— Как видел? — изумился Монахов.

— На фотографии. Да ты его и живого видел.

— Да нет же.

— Он же в подъезде торчал, когда мы пришли... Ну?

— Не помню. Что ему от тебя надо? — вдруг как-то не так, не тем голосом сказал Монахов и рассердился на себя. Наталья обрадовалась.

— Он меня убьет... — сказала она, с надеждой глядя на Монахова.

— Ну... Так это у вас серьезно?

— Ну да, серьезно...— пренебрежительно сказала она.— Просто он в меня влюблен без памяти.

— Что ж ты мучаешь мальчика,— самодовольно сказал Монахов.

— Я мучаю?! — возмутилась Наталья.— Да я его мать, а он мой сын.

— Вот как,— ухмыльнулся Монахов.— Что ж он тебя убьет?.. Кровожадный какой.

— Да нет, он добрый. Он очень добрый. Патологически.

— Что ж он, простит, что ты мимо него с мужиком домой пришла?

— Дурак ты, Монахов,— рассердилась Наталья.— Твое какое дело. Да я, если хочешь знать, никогда его не обманывала. Я ему сразу сказала, что у меня человек есть.

— Какой еще человек?

— Которого я люблю.

— Кто таков?

— Ты.

Монахов поверил. Так как же это он у нее есть?..— изумился он про себя. Когда напрочь и навсегда его у нее не было..

— А он что?

— Он не поверил. Когда прямо говоришь, никогда не верят. Люди и врут-то, чтоб поверили. Смешно, он меня преследует и ревнует. Подозрителен чрезвычайно. А скажи ему прямо: «Да не люблю я тебя, иду к другому, другого люблю, только что от другого пришла...»— засмеется счастливый, словно я так шучу, и полезет целоваться.

— Это понятно...— кивнул Монахов.

— Понятно? Тебе понятно?.. Как тебе может быть понятно? Тебя что, не любили когда-нибудь?

— Ну нет... не любили — не то слово...— замешкался Монахов.

— Не любили! Монахова не любили!

— Чему ты радуешься-то? — смутился Монахов.

— А так. Может, ты человек... Может, ты человек, а, Монахов? Может, я не зря тебя люблю. Может, мне удастся еще тебя разлюбить?

— Не удастся,— привлекая ее к себе, сказал Монахов голосом, столь неестественным, душным, что на секунду ему стало стыдно. Но она уже не могла этого увидеть.

Наталья была откровенно довольна, смотрела в потолок плавающим взглядом. Пришел черед что-то рассказывать и опустошенному Монахову... Ему нечем было похвастаться — как сегодняшними победами на производстве — оттенял свою роль. Наталья не слушала и смеялась: то ей казалось, губы его как-то не так шлепают, то ухо его оказывалось не как у людей, не там... Монахов старательно не обижался. Про погибших рабочих она, однако, услышала:

— А дети у них были?

И хотя Монахов сам использовал утром этот довод, но то была непрочувствованная им демагогия, а вот Наталья... Наталья восхищала Монахова. Казалось бы, девчонка, дура... И вдруг такой поворот! Расчувствовался Монахов. Но жертвы опять оказались в стороне от его сознания — пошли в пользу возлюбленной. И про золотозубого услышала:

— Исмаилов? Я его знаю.

— Знаешь?

— Я у него секретаршей работала. Да нет же, он не злодей... (Монахов успел возмутиться с готовой горячностью.)

— Ну что, вор...— сказала Наташа.— Кто не вор?.. У него семья огромная — семь дочерей...

— Всех надо замуж выдать?

— Вот именно,— сказала Наталья.— Ну а как ты, счастлив?

Не думал он, что она задаст этот вопрос. Думал, что она как бы выше этого, что так она и есть свободна от всего, от чего он сам не свободен... Он немножко расстроился — облачко пробежало по потолку, даже тучка. Все-таки баба... Он решительно пожаловался на неудачу: да, вот так вот, не получается жизнь. Почему-то он считал, что его несчастье устроит ее. Наталья почему-то слушала.

— «Горе»...— передразнила она.— Какое это горе! Родители старые — вот горе.

И опять он был поражен ее точностью. Отца у нее не было, а мать умерла как раз, пока Монахов страдал от своей личной жизни, за эти три года. Он-то еще думал, где она, почему Наталья так осмелела? Про своих стариков он, однако, не вспомнил.

Наталья прошла к окну — там сбегались сумерки, а в комнате уже было совсем темно. И она долго выглядывала там что-то, в более светлых сумерках.

— Ленечка? — догадался Монахов.

— Нет,— сказала она и как-то решительно стала одеваться.— А ты о нем не смей говорить.

— Это почему же? — насупился Монахов.

— Так... Он очень хороший и умный мальчик.

— Вот как.

— Он знаешь, какие стихи пишет!..— запальчиво сказала Наталья.

«Ну не девчонка ли? — подумал Монахов.— Ребенок».

--- Ну!..— протянул он.— Тебе посвящает?

— И посвящает! — с вызовом сказала Наталья.

— Наизусть помнишь?

— И помню.

— Прочти,— Монахов попробовал ее приобнять.

— Сейчас... Отодвинься.

Приди скорей и убирайся прочь!
К пяти — рассвет наставил свое дуло.
Туман упал, и воровская ночь
Вслед за тобой за угол завернула.

Часы без стрелок — лучший из гербов.
Я попадаю в ватные объятия.
Со словом отвратительным «любовь»
Рифмую пустоту меропрятья.

Не бойтесь! больше вашего не дам
За эту жизнь. Не надо сдачи...

Монахов рассмеялся:

— Сколько ему лет?

— Восемнадцать.

Монахов засмеялся еще искусственное и сильнее.

Наталья обиделась:

— Ты ничего не понимаешь! Какое значение имеет возраст! Если хочешь знать, я его всего на четыре года старше. Это ты старик, инженерная душа. А нам нравится.

— Ого! — сказал Монахов.— Я старик?

— Сластолюбивый старик!

Ему вдруг стало скучно, тошно — его настигла кратность бытия: что-то уже было, будто слово в слово, миг в миг, свет тот же... что-то уже было из этого неповторимого. Ни краткой боли, ни короткой обиды — ничего не испытал Монахов, смертельно обижаясь. Он решительно поднялся, поджал губы, с чеканным профилем стал натягивать брюки.

— Ты что? — встрепенулась Наталья.— Ты куда? Ты что, обиделся? Ты же не обиделся, ты что, притворяешься? — точно подметила Наталья.

На эту ее точность Монахову ответить было нечем. Еще безмолвнее завершал он туалет. Он уже вошел в роль, и тем искреннее, чем притворнее.

— Монахов, милый, ну прости! Я не хотела. Я ничего не сказала. Стихи плохие, Монахов! Постой, куда ты! Я не буду. Я не знаю, что... Монахов! Монахов, умоляю!

Монахов милостиво позволил себя обнять. Холодный, гордый.

— Монахов, не уходи! Не уходи, прошу!

А Монахову ведь и не к кому было уходить... Он перестал притворяться — и расплылся в счастливой улыбке.

— Не ушел! Не ушел! Ну что это на тебе какие-то тряпки? Ну снимай же! Монахов...

К ночи они вышли на обезлюдившую темную улицу, и Монахов почувствовал себя на юге. Это чувство он знал и очень любил, как первый в сезоне огурец. Такое чувство, будто попарился и вышел: легко, тепло, и уже вечер. После парилки, выйдя даже на мороз, Монахов всегда вспоминал юг. Нельзя сказать, чтобы сейчас он вспомнил о парилке и сопоставил.

— Юг — это юг, — сказал он, глубоко вздохнув.

Звезды усыпали небо, фонари уже погасли, однако было как-то светловато в этой полной ночи. Пахло костерком и каким-то первым сухим цветением. Здесь отцвела рыночная мимоза, готовил свои свечи каштан...

Каштан черемухой покрылся,
Бульвар Французский был в цвету.
Наш Костя, кажется, влюбился...—

пропел Монахов и рассмеялся.

— Представляешь, «каштан — черемухой»... Я так в детстве пел. Я ведь здесь был в детстве...

— Правда, влюбился? — Наталья счастливо чмокнула его в щеку.

Праздник не кончался. Девушка рядом и именно Наташа. Монахов чувствовал себя так юно! Он жалел, что давно забыл и не испытывал этого. Жизнь... Он чувствовал себя ровно так, как когда-то, на какой-то практике, в какой-то деревне, после танцев... Не молодым он себя все-таки почувствовал, а к а к м о л о д о й. Разница. Эта мысль смутна, как чей-то шорох, какой-то шелест, что-то вспорхнуло, улетело, заскрипели тормоза. «Как юный...» — вздохнул Монахов, прислушиваясь, но, мысли той так и не подумав, как и про баню — не сравнив, не вспомнив, вдруг сказал:

— Слушай, а здесь парилка, в Ташкенте, есть? Здесь палятся?..

Ему только этого до полноты не хватало...

Такая пустая, полная ночь! И тут же — такое обилие запы-

хавшейся, подбежавшей вплотную жизни, в которую он почему-то сразу верит, что это жизнь, а не какие-то городские шумы: качнулась ветка, сорвалась птичка, прошелестела и осталась позади мысли, неузнанная и непойманная. Никогда он не узнает, о чем только что подумал: это наполняло его счастьем, он вдыхал этот согретый бензиновый воздух со следами запахов одеколонного цветения... Он ничего не видел, и это трепетное «ничего» — жило. А главное — пусто было...

— Наталья! — раздался голос из этой пустоты, и тут же, как привидение, возникла белая рубашка, прямо перед ним. Еще один отделился от ствола, третий, не проявляясь, маячил.

«Господи! как сейчас меня изобьют!..» — без страха подумал Монахов. Вернее, как молод был в нем этот страх, так все запрыгало, ухнуло вниз — такой прилив. Еще больше стало этого рассеянного света полной ночи — так светло! — еще полнее стала тишина и звонче шуршания...

— В чем дело? — грозно и уверенно подумал Монахов, но так сдавленно раздался этот голос, словно не из него. Никто его не услышал.

Бесконечность этого мгновения наконец завершилась.

— Ты, Зябликов? — тут же открыто и легко отозвалась Наталья и шагнула навстречу. Монахов чуть отстал, тактичный.

И когда они остановились, то стали вдруг видны Монахову, как будто под фонарем. Тот что-то ей бубнил сдержанно-грозное. Она отвечала легко, нарочито беспечно. Так все это видел Монахов, проигрывая про себя юношескую, ни разу не осуществленную серию ударов (давно он вот так не сражался!). Но, что удивило Монахова, это возраст Ленечки — мужик его лет. Приземистый, одутловатый, небритый, почти как с бородой, в мятой, нечистой рубашке и сандалиях на босу ногу. Внимателен был Монахов, наделив от щедрот свое первое впечатление и некоторой симпатией к неудачливому возлюбленному: чем-то он мне симпатичен... Неконкурентная внешность Ленечки (Зябликов, значит, его фамилия, которая вдруг стала в сознании Монахова очень подходить Ленечке, как и внешность, и даже нарушение возраста — углублять симпатию...) так успокоила, что ли, Монахова. Безнадежность шансов соперника... Поймав себя на этом (все-таки все сейчас было в Монахове ускорено и обострено): «Как много в мужиках женского, даже бабьего...» — усмехнулся довольно Монахов.

Наташа приветственно взмахнула рукой и вернулась к Монахову. Ленечка подвинулся к маячившему за его спиной, такому же приземистому, но уже плохо различимому своему приятелю, и оба они отошли к третьему, слившись снова со стволами, пропав.

— Ну? — спросил Монахов.

Видимо, он как-то не так спросил, что-то выдал.

— Испугался? — Наташа засмеялась. — Он же добр, как подушка. Правда, он похож на подушку?

— Без наволочки, — сердито сказал Монахов. — Что ему надо?

— Это же Зябликов! Зябликову всегда одного надо. Спрашивал, нет ли у меня выпить.

— А ты?

— Я сказала, что ему хватит. Он уже под кайфом.

— Что значит под кайфом?

— Ну накурились уже до чертиков.

— Что — опиум? — залюбопытствовал Монахов.

— Ну да, вроде. План. Ты разве не знаешь?

— А чего вы с ним так долго разговаривали? — ревниво спрашивал Монахов.

— Он про тебя расспрашивал.

— Что — расспрашивал?..

— Нет ли у тебя выпить. Чего ты такой, пыльным мешком стукнутый, не накурился ли сам? Не хочешь ли покурить, предлагал. А я говорила, что нет, не хочешь, не куришь, не будешь... — Наташа вдруг расстроилась. — Хороший ли ты мужик?.. Ну чего ты пристал ко мне?..

— А ты что?

— А я что... Сказала, что замечательный.

— А он?

— Ну, тогда-то что, сказал. Ну чего ты пристал? Тебе-то что?

— Так. Станный он у тебя...

— Почему?

— Другой бы на его месте...

— Почему у меня? — вспылила Наталья.

— Твой Ленечка...

— Это не Ленечка. Ленечка там сзади стоял. Это Зябликов, про природу детские книжки пишет!..

— А я думал, твой Ленечка... — почему-то обрадовался Монахов. — Еще удивлялся, чего он такой старый... — быстро говорил он.

— Тебе не все равно? — удивилась Наталья. — Нет, ты мне скажи, тебе неужели не все равно? Правда?

Монахов улыбался.

Этот мирный, ласковый бандитизм будил в нем какое-то детское воспоминание, когда тоже вот так оказывалось, что зря боялся, что — наоборот.

— И что Зябликов — тоже хорошо пишет? — усмехнулся Монахов.

Наталья не ответила.

— Ленечка у меня из ящика телеграмму вытащил... — сказала она наконец убитым голосом.

Монахов не понял.

— Ко мне завтра тетка приезжает...

Наутро Монахов обнаружил, что жизнь его необыкновенно осложнилась.

Мать с ним не разговаривала. Ему показалась забавной ее ревность: так сомнительно относясь к невесткам, всегда занимать их сторону в подобных вот случаях. Жена тогда в ее ревности становилась как бы не в счет, и возможная измена не могла ее устроить как месть, а расстраивала как свежая ревность. Так он думал, и был не прав. Пришлось ему, однако, заглаживать. Для этого расписал он свои трудовые успехи, которые его так задержали. Отец охотно слушал и кивал: он сталкивался с подобными случаями в своей практике. Мать успокоилась и сказала:

— Значит, ты все свои дела уже сделал?

Это она отметила по существу. Это означало, что оставшиеся дни сын может безвылазно просидеть дома: есть-спать, с мамой наговориться, старика подбодрить. Монахов и тут был тронут: очень ему снова нравились женщины. И мать — женщина. По существу. И вечер он провел вполуха, как бы устав, как бы выложившись весь на работе, потому что все, что воспринимал, каким-то образом сводилось к Наташе: образ далеко не улыбал, — да и радостно было вспоминать. Только вспоминал Мо-

нахов опять же не сегодняшний день, а те три или четыре дня предотъездных в столицу, три года назад, когда его вот так же все ждали проститься: мать, отец, Катя — первая жена. Очень он тогда маялся у Наташи, все порывался уйти, очень за плечами дом оставался... мучился, а сам не мог никак отойти. Только как же он тогда не сумел ее оценить, Наташу? — вот за что он себя сейчас упрекал, проигрывая в памяти те дни. Как мог так жестоко, так слабо... За домашних своих он себя упрекал тогда, теперь — нет. Теперь он не понимал, как такую-то (ведь так редко с ним бывало, что легко, что и никогда...), как такое-то он тогда упустил...

— Что ты и не кушаешь сегодня совсем?

— Ах, мама...— Так ласков был наутро Монахов, обнял мать, нежный, умиленный.— Моя мама.

— Твоя, твоя! А то чья же? — скороговоркой, весело отозвалась мать.

«Какой дурак! Какие ошибки!»— так восклицал про себя Монахов, совершенно не видя футбола, который вопреки ворчанию отца включила мать для сына, хотя он и не очень-то настаивал. «Мимо своего-то — и проходишь мимо...» Удар! Монахов вздрогнул: мимо. Усмехнулся. Отец, в отместку за переключение программы, рассказывал о космических пришельцах — самая ненавистная для матери тема. Сын вперся в экран и не видел, кивал отцу и не слышал. Мать была счастлива лаской сына.

И тут он понял, что уже опаздывает на свидание... И еще он понял, что попался — перестарался в рассказах о работе.

Что-то внезапное напелл, совсем уже не заботясь о правдоподобии, и когда прибежал, Натальи уже не было. Пометавшись в досаде, он ушел.

На следующий день оказалось, что она опоздала и он не дождался ее, всего каких-нибудь пять-десять минут. Дома у Наташи воцарилась тетя, они бродили по улицам. Наталья молчала. Монахов иссяк. Он вдруг вспомнил, что пропустил звонок жене — они прогуляли условленный час. Ему стало окончательно не по себе: куда девался праздник?.. И как быстро!

Они поссорились. Наталья что-то врала — он возмутился. Она сказала, что у него нет на нее прав. И, сказала она, она не виновата, что им негде встречаться. Монахову нечего было ей предложить.

Тогда она и предложила ему этот коварный план с днем ее рождения.

Монахов согласился, но, позвонив жене и придя к старикам, понял, что это невозможно.

Так, к концу своей командировки, ко дню своего отъезда, Монахов сохранил все три возможности, надстраивая их условиями и оговорками, возвел три шаткие постройки, ни одну из них, однако, не порушив. Вернуться вовремя к жене, задержаться на денек-другой, чтобы побыть с родителями, или, под этими предложениями раздав их по принадлежности, провести два дня у Наташи, почтить ее день рождения. Возможности эти потому и простояли до последнего дня, не рухнув, что были прислонены друг к другу и возводились параллельно. Стоило предпочесть и выхватить одну — рушились до основания остальные. Стоило ли тогда их возводить столь искусно и долго? Почему было сразу не остановиться на одной. Эта неэкономичность удручала Монахова. «Расчет на безнаказанность неэкономичен», — сформулировал он с усмешкой. Однако ему по-прежнему хотелось и не хотелось одновременно всего: и оказаться безнаказанным, и побыть с родителями, и оказаться уличенным, и приехать

поскорей к жене, и быть поощренным за самоотверженность, и насладиться у Наташи, и быть до конца выведенным на чистую воду наконец.

Эти возможности по мере истощения крайнего срока приобретали прямо-таки мучительную силу, приблизительно равную страсти. Ему казалось, что он не ожидал уже от себя такой силы чувств.

Он все-таки предположил, что, избери он возможность побыть с родителями, то вряд ли с ними побудет, потому что сохранялась в этом случае и еще одна возможность. А остаться под их предлогом и не побыть с ними — отвратительно некрасиво. Поэтому, пожалуй, он избрал все-таки возможность третью — она, по крайней мере, рушила две остальные... Он решительно, немедленно собирался в Москву. Чтобы отсечь эти две возможности, надо было лишь позвонить в Москву и предупредить жену о внезапном приезде — это он отложил. Для начала он позвонил Наташе на работу: вот, до последнего думал, что удастся задержаться и быть на ее дне рождения, а теперь — точно — уезжает, да, прямо завтра, никак иначе невозможно, нетелефонный разговор. Хотя, что нетелефонного, он в этот момент еще не придумал. «Ты что молчишь? — кричал ей в трубку Монахов и как бы злился. — Я тебя слушаю, ты что молчишь?» Вот когда люди не понимают — этого понять нельзя. Вот что злило Монахова. Он уже верил в неизбежность и независимость от него этого принятого решения: ехать. А тут его несправедливо, молча обвиняли в выборе и воле. А он не мог иначе. Вовсе не потому, что ему так хотелось. А — не мог. «Ты что молчишь?» Ответила бы она, что молчит, — что бы он ответил?.. Но она молчала, и, ударив в сердцах по рычагу, Монахов понял, что все еще все три возможности налицо.

Но для мамы-то — он уже улетал. Улетающий Монахов отличался от остающегося особой предупредительностью и снисходительной смелостью всех движений, мужественный род ласкового обращения. Он помогал маме сходить на базар закупить фруктов себе в дорогу, легко нес маме тяжелую свою корзину, приятно возвышаясь на голову над базарной толпой.

И тут он наткнулся на Наташу, почему-то особенно неожиданную после телефонного разговора, почему-то исключавшуюся для встречи на этом вот именно базаре. С нею был мальчик (Монахов сразу назвал его про себя «мальчик»), призывного возраста малый, приземистый, с широкими покатыми плечами и неуклюже длинными руками («Утенок», — тут же вспомнил Монахов). Он все как-то вспархивал вокруг гордо плившей Натальи (она была чуть выше его или казалась выше), отшатывался, чтобы увидеть, обнаружить ее рядом — тогда смеялся (огромный рот, толстые губы) и был действительно, точно — утенок. Подразумевалось еще, что «гадкий», но хватало вкуса... И все-таки во всей этой очевидной некрасоте, отметил Монахов, было-таки... Очень милый мальчик, подумал он совершенно без всяких оснований, что и было... Мама отвернулась, присматривая миндаль, «утенок» в этот момент состроил кому-то рожу, чтобы посмешить Наталью, — и Монахов скромно и почтительно кивнул ей. Наталья еще выше вздернула голову, то ли кивнула так, то ли, наоборот, так и не кивнула. И устремилась прочь.

— Ленечка! За мной! — властно сказала она приотставшему и потерявшемуся (потому что гримасничал зря — она, оказывается, его не видела...), сразу такому ребенку, Ленечке. И Ленечка радостно, чуть не вприпрыжку, кинулся за ней.

«Какая она все-таки девчонка!» — ласково и грустно усмехнулся Монахов. Но ему стало горячо в груди — как легко ему было не представлять ее себе, расставаясь, настолько, оказывается, он не расстался с нею, когда ее увидел.

— Ах, черт! — пробормотал он, провожая взглядом поспешавшего «утенка».

И мальчик славный...

И, провожая ее взглядом, Монахов ощутил тоскливый укол: ему предстояла жизнь, давно лишенная цвета. Последняя, быть может, краска испарялась сейчас на его полотне. Вон в последний раз мелькнула немыслимая алая юбка — подмела пыль, и нет ее... Как же он опять упустил?! Опять забыл то, что только что понял... А что он понял?.. «Как я мог не видеть ее целых три дня!» — отчетливо понял он.

А она — прекрасно понимала это. «Как же так, Монахов? И не простимся...» — сказала в последний раз. «Как это — не простимся?» — не понял тогда сытый Монахов. «Тетка приедет. Ты уже не будешь со мной...» Только сейчас он понял это ее откровенное, простенькое, ситцевое «простимся» и «не будешь со мной». Он задохнулся: ведь мог видеть и вчера и поза... а завтра — неужели уже никогда?.. Ему так хотелось побежать, догнать, остановить! Так просто ведь...

Он стоял, и лицо его ничего не выражало.

Мать, опередив его, подслеповато шурилась, ища его в толпе и не решаясь еще громко позвать. И это мамино подслеповатое, чуть испуганное и даже раздраженное лицо дано было увидеть Монахову вслед за Наташиным. «Ах, черт!» — бормотал он, нежно беря ее под локоть. И лицо старушки засветилось, как у девушки, все в мелких осколках любви и счастья. Именно вдруг легко было представить Монахову, какая она девушка была, его мама.

«Что же это?.. — влюбленно думал он.— И в жизни однолюба так много женщин: мама, бабушка, дочь...»

Эта странная мысль была самодостаточной.

Если что-нибудь и могло помочь Монахову в проблеме выбора, возбудить в нем инициативу, то этот странный звонок...

Сколь ни был виртуозен Монахов в своем деле, как ни ловко скрутил он свою командировку, однако был наказан за профессиональный перекоп: за ним был прислан курьер (телефона у стариков не было) из того самого СМУ, с которым он так окончательно покончил. И на этот раз не сам Исмаилов подобострастно блестел золотыми зубами, а миниатюрный мальчик лет тридцати, в тубетеечке, как у Исмаилова, с комсомольским значком на скромной курточке, улыбался сладко и нагло — зубами, черными от наса*. И именно потому, что ничего подобного Монахов не мог предположить: никакой его ошибки и быть не могло,— его так взволновала эта фраза «в ваших же интересах...», искусно брошенная черным мальчиком, находившимся неизмеримо ниже его по служебному положению (однако у мальчика был домик на окраине и автомобиль «Москвич», о котором Монахов иногда мечтал...); фраза эта так возмутила (но и испугала) Монахова, что он — ехал. (Причем не на черной «Волге», а на трамвае, что странным образом подтверждала обоснованность той же фразы.)

Оказалось... Ничего, впрочем, такого уж страшного не ока-

*Н а с — род жевательного табака.

залось из того, что с особой силой вообразилось Монахову (не может ничего быть, а — вдруг...), именно потому, что никаких логических оснований для страха не было. Оказалось: отчасти политика, отчасти хамство, в чем Монахов уже не был ни так силен, ни так умен, как в своей инженерии, но что, в чем он убедился, является предметом не менее сложным, чем наука, но более насущным. По-своему вся эта фигура была не менее увлекательна, чем детектив, но эта должна быть особая проза, не эта. В кратком изложении для непосвященных все это не будет звучать... Был найден параграф договора, формально существующий во всех системах договоров, но никем до сих пор в расчет не принимавшийся, как сугубо неделовой и декларативный. Были обнаружены и некоторые нарушения в системе авторского надзора.

Кое-какие договоренности, существовавшие в устной форме, но не подтвержденные бумагами, были, скажем так, по-своему истолкованы... короче говоря, стройность монаховских заключений была если и не порушена, то расшатана — над всем этим покорпел квалифицированный юридический мозг. Кроме всего этого и в его, монаховских, выкладках была обнаружена ошибочка, не принципиальная, но опрокидывавшая его выводы в целом, но блеск его экспертизы несколько тускнел. Не мог Монахов предположить, что Исмаилов сам поймал его на этой погрешности — здесь был инженерный стиль и изыск, которого высшей квалификации Монахов никак не ожидал здесь встретить. Тщеславие его было уязвлено больше всего именно этой мелочью, никак самой по себе не ставившей под удар все дело (всему делу угрожала именно ловкость юридической стороны, совсем не взволновавшая Монахова: повод задуматься, насколько волнует нас успех самого дела, а не только наш в нем...) «Кто же этот Эйнштейн?» — думал Монахов, раздраженный и заинтригованный. Эйнштейна не было — был Исмаилов (юноша в тубетейке черненько улыбался где-то на фоне...). В общем, Монахову «показали». И еще тем показали, что ничем его не шантажировали, не угрожали, не были столь беспощадны к его упущеньицу, как он — к их. Дали понять.

Благодарили, пожимали руку, приглашали приезжать еще. Короче, Монахов хорошо понял, что ни он, ни его заключение не меняют положения вещей, существующего прочно отнюдь не на теоретических основаниях. Он не выполнил того, что от него хотели, и только. Найдутся... И что самое досадное, может быть, и не хуже разбирающиеся в деле, чем Монахов, если не лучше. И вот еще: его можно было и не вызывать. И еще больше: он мог и не ехать. Он — приехал. И этим как бы сам указал себе место. «Восток», — думал Монахов.

Тут и раздался этот странный звонок. Секретарша, перезрелая русская женщина, вошла и шепнула что-то Исмаилову, с жалостливым любопытством поглядывая на Монахова (интересно, в какой форме посвящена она в мои неудачи?..). Исмаилов, выслушав, тоже кратко, по-новому взглянул на Монахова, снял свою многоступенчатую трубку и протянул ему:

— Вы ошиблись, наверно... — растерялся Монахов. — Не может быть, чтобы меня... Никто не знает, что я... — Он осекся.

— Вас, — сказал Исмаилов.

— Монахова! — подключившись, застрекотала секретарша. — Я говорю, какого Монахова? — Тем временем Монахов, с приподнятыми бровью и плечом, демонстрировавшими крайнюю степень недоумения, его потенциальную грозность в случае недоразумения, обходил стол и брал из рук Исмаилова трубку. — А

мне говорят: начальника из Москвы...— трещала секретарша.

— Монахов,— сказал Монахов несвойственным себе образом: ему было мучительно не по себе: «начальник из Москвы»...

— Вы меня не знаете,— раздался в трубке низкий, одновременно странно юный голос,— да это и неважно...

— Алло! Кто говорит?..— говорил Монахов, зачем-то дую в трубку.

— Одна ваша знакомая...— «Что за бред?» — подумал Монахов.— Наталья... она просила вас передать, чтобы вы обязательно к ней приехали. Ей надо сообщить вам нечто чрезвычайно важное для вас. Это может угрожать вашей жизни...

— Что за чушь! — воскликнул Монахов, взглядом преследуя секретаршу, бегущую к параллельной трубке.— Кто говорит? Нет другого способа передать мне...

— Она очень больна,— голос звучал глуше, будто трубку вырывали.

— Чем?

— Я не могу больше говорить...— короткие гудки.

— Алло! — Красный, Монахов дул в трубку. И не сразу сообразил, зачем Исмаилов протянул к нему безмолвную короткопалую руку. Исмаилов взял у него из рук трубку и положил на рычаг, как ценную вещь.

Это было нелепо, но в результате Монахов выходил от Исмаилова, чувствуя себя оплеванным. Секретарша провожала его круглым взглядом.

«Ну погоди!» — кипел Монахов; он вышагивал к дому злым, стремительным шагом; он добирался до самого верха и выводил Исмаилова на чистую воду; он выговаривал Наталье как школьнице; он с жестокой иронией обращался к самому себе: дурак, например. Посмеиваясь над иными своими предположениями, никак он не мог, однако, скинуть их совсем со счета: что Наталья действительно больна, или что ему подстроили ловушку ее поклонники — тот же Ленечка, или что Наталья какими-то своими путями узнала о действительно грозящей ему опасности: быть убитым мафией (Исмаилов — глава...), что ее саму захватила эта мафия, однако она нашла способ передать ему на волю... Тут он громко смеялся в голос, не обращая внимания на прохожих,— над собою: мальчишка, кино!.. Если это все Натальины штучки с целью заставить его к ней приехать, то следовало их разгадать и наказать ее, не приехав. Но и в таком случае было в этой настойчивости нечто лестное для Монахова, подтверждение чар... А если это угроза... сердце сжималось от мальчишеского страха, Монахову становилось весело, он воображал, как разнесет всю эту трусливую засаду, а если будет избит, то и это чем-то устраивало Монахова... Во всяком случае, он не струсит, он поедет, он, как (с их точки зрения) дурак, сам полезет головой в мышеловку, не связываясь с милицией, никого не оповещая. Чем страшнее рисовал он себе картины, тем смелее становился. А если это подстроила Наталья, чтобы проверить его смелость?.. Вот вариант, не учтенный им, однако наиболее возможный: проверка на вшивость... Удовлетворение оскорбленного женского самолюбия: мол, он не стоит того, чтобы так уж набиваться...

И вот в этом, последнем, случае, как-то совмещавшем в себе оба первых, Монахов наверняка задерживался в Ташкенте еще на день, чтобы с честью пройти подобную проверку, чтобы все остальные как раз ее-то и не прошли.

Следует в пользу Монахова отметить, что до конца сохранился и рыцарский аспект, пусть маловероятный: что она больна, что ей самой может что-то грозить...

«Вот я и приехал...» — усмехнулся про себя Монахов, следуя за сильной Наташей, легко несшей пудовую корзину. На секунду ему померещилось, что именно сюда он и ехал: откуда-то от т т у д а, не от мамы и не от жены. Квартиру он воспринял заново, будто ни разу в ней не был. Он протискался в темную прихожую между Наташей, корзиной и дверью, отсюда была видна насквозь кухня: сухонькая седая растрепанная женщина с папиросой во рту мыла посуду.

— Тетя, это Монахов,— сказала Наташа, пристраивая корзину.

Тетя отклонилась назад, близоруко щурясь в темноту прихожей, приветливо кивая, будто ей дым лез в глаза, мол, извините, мокрые руки, ничего не видя... Монахов расшаркивался в темноте с учтивым замешательством.

— Пошли, пошли. Ты с дороги. Тебе надо принять душ... — громко, для тети, говорила она и влекла его дальше по столь же темному коридору. — Не обращай внимания. — И Монахов последовал за ней, галантно перед тетей пританцовывая, будто еще кто-то был между ними, какое-нибудь небольшое животное, чтобы не наступить... «Что она ей наплела?» — кисло думал Монахов. Эта в секунду образованная в коридоре семья, состоящая из него и тети, его не устраивала. Предчувствия, не обманувшие-таки его, подступили вплотную. Тоска о собственном, исчезающем обмане охватила его. «Сейчас я ее решительно распрошу, зачем она подстроила этот звонок Исмаилову. И тогда...» Но спросить ему так и не удалось.

Комнату он тоже не узнал. В ней, такой было пустой, поместилось нелепое количество новых предметов: столовский столик, отороченный алюминиевой полосой, к нему в гарнитур такой же стул; деревянный ангелок, головка, антиквариат, подлинник с отколотым носом, с крылышками за ушами, висел на свежем гвозде; большая иностранная фотография — голая белая девушка рядом с гигантским, белым же, изоляционным роликом; большая шкура неведомого Монахову животного на полу, а на шкуре, обняв замызганные коленки, — глубоко небритый, всклокоченный человек, сверстник Монахова, уж не Ленечка... Монахов растерялся.

— Какой ты смешной, Монахов! — восхитилась Наташа. — Что с тобой? Это же Зябликов, ты его уже видел.

Монахов попер к нему с протянутой рукой.

Сделав чисто формальное движение приподняться, Зябликов подал крошечную немывую ручку.

— Монахов,— сказал Монахов.

Зябликов, однако, не сказал «Зябликов», а лишь внимательно взглянул. Взгляд этот несколько смутил Монахова, хотя и не содержал в себе ни недовольства, ни вызова — будто Монахов стал виден насквозь. Это, ничем пока не подтвержденное, впечатление ума Зябликова вызвало в Монахове смешанное чувство почтения и неприязни.

— А ты обставилась... — сказал Монахов, чтобы сказать.

— А это,— смеясь, показала Наталья на стол,— они с Ленечкой вчера из кафе, что на углу, приперли...

— Как? — не понял Монахов.

— Так, взяли за углы и понесли.

Зябликов будто и сам с интересом слушал.

— А этот... ангел,— ткнул тогда Монахов в ангелочка. —

Ведь настоящий? — настороженный за свое знание искусства, спросил он.

— Это не ангел, а херувим,— гордо сказала Наталья. «Какая разница?» — раздраженно подумал Монахов.— Ленечка не настоящего бы не подарил...— Монахов молчал.— А это шкура Зябликова.

— Не моя, конечно, а яка,— сказал Зябликов. И эта шутка, не стоившая того впечатления ума, которое он на Монахова произвел, была, значит, чистой любезностью. Монахов особенно готовно засмеялся: демократия Зябликова его покорила. Получалось, правда, что лишь один он без подарка. Он подумал было о корзине с фруктами, но тут же отверг подобное предположение, показавшееся ему слишком циничным, что ли. Он тогда чуть поудивлялся про себя, что и не подумал о подарке, убежденный, по-видимому, что он сам и есть подарок. Монахов усмехнулся. Зябликов раскрыл перед ним коробку каких-то удивительно длинных папирос.

— Я их сам набиваю,— сказал он.

Из ложного чувства Монахов готовно взял одну, сел рядом на шкуру и теперь крутил папиросу в пальцах, просыпая табак.

— А я бросил курить,— сказал он.

Зябликов без слов вынул папиросу из его пальцев, положил назад в коробку. Монахов растерянно улыбался.

Наташа вышла на кухню — Зябликов молчал, и Монахов молчал, последовательно удручаясь от мысли. Он словно только сейчас понял. Когда он вот так внутренне метался, из трех путей выбирая один, почему каждый из трех становился единственным? С чего бы это? С чего бы это — в том случае, если он решался на Наташу, то дальше с порога они входили на какую-то, как площадь широкую, постель, оставаясь всегда вдвоем, без помех, до тех пор, по-видимому, пока Монахову в очередной раз не станет пора? Вот этот вихрь с порога, как награда за решимость, это расчисленное пространство дня рождения вдвоем — одно и могло победить в выборе. То есть варианты выбора порывают с реальностью, пока выбор, умножаясь, пытается ее отразить... Эволюция варианта: побеждает тот, который умудрится прикинуться наиболее соблазнительным. А здесь — Зябликов, тетя, херувим... — все то, что было легче всего себе представить с самого начала. «Выбор искажает цель», — Монахов подержал эту мысль в своих, как держат в руках какую-нибудь законченную форму, деталь, неизвестной нам принадлежности и назначения — такая симпатичная вещица, а ни к чему — и отложил, забыл за неупотребимостью.

Наташа поманила его в коридор.

— Ты что же, Монахов... Дурачок, Монахов,— приговаривала она, обнимая его как столб.— Ты зачем на Зябликова дуешься? Он-то при чем?

Монахов удивился этому предположению... Вот уж, что угодно, но о сопернике он не думал. Именно, что он считал себя вне конкуренции... Даже мысль такая ему в голову прийти не могла.

— А что, и твой Ленечка будет? — сообразил он.

— Они уйдут, уйдут!.. — запальчиво говорила Наташа, обнимая и любя его все больше.— Не могла же я их не позвать... — умоляла она.

Монахов был удовлетворен оказанным предпочтением и поцеловал ее. Из темного коридора он вернулся к освещенному Зябликову, всем своим видом не компрометируя Наташу, то есть каким-то образом обозначая, что ничего у него там в коридоре с ней не было. Хотя, как это можно обозначить?.. и как что-нибудь

могло в коридоре быть? — вот что странно, как допущение. Зябликов взглянул на него еще раз, опять производя впечатление ума. Тоже будто не сказав чего-то из того, что Монахов не показал.

— Ну так что, я схожу? — спросил Зябликов.

— Да нет, что вы!.. — стал отговаривать его Монахов, сладостно краснея. — У вас нет причины уходить, — неуверенно сказал он.

— Рубль у меня есть, — сказал Зябликов, снова взглянув.

— А-а... — Монахов был крайне смущен своей проговорчивостью и стал с поспешной готовностью суетливо доставать пять, десять, все деньги. Зябликов секунду помедлил рукою и решительно взял только пять.

— Ну, что ты, Монахов, делаешь? — говорила Наташа. — Зачем ты ему дал деньги? Вы же перепьетесь, не дотянете до вечера. Ты дурак, Монахов. Зябликов просто мой друг. Он не имеет ко мне отношения. Ну что ты, Монахов!.. Он же сейчас придет... Монахов... Тетя!

Она вырвалась.

Зябликов оказался и впрямь весьма забавным человеком. Монахов таких не встречал. Он был великий путешественник. Он проплыл сибирские реки от истоков до океана, перешел пустыни и тайгу, и все это, кажется, была правда. Он мог прожить полгода один в обществе комаров и сосновых иголок и тогда не пил не только потому, что нечего, но потому, что незачем. Остальную жизнь, включая себя, он знал, кажется, не хуже, чем лес, и презирал, по-видимому, настолько глубоко, что оставался спокоен и снисходителен. Глупость, конечно, его раздражала, потому что ее трудно не заметить, и когда ее мало, и когда ее много. В общем, он сильно нравился Монахову, и Монахов старался ему понравиться и проявить ум, постоянно поскальзываясь на своих неточностях. Но это уже не Зябликов прикалывал его неудачные слова взглядом, а сам Монахов в ту же секунду ловил себя на них, выправляя, и вырубывая — вот благо соседства с умным человеком!.. Короче, они выпивали.

Забегала от кухонных дел Наташа.

— Ну что, готовы?.. — говорила она ласково, перебирая волосы Монахова. Монахов цепенел под лаской, не зная, лестно это ему или лишне в глазах Зябликова. Делал вид, что ничего не происходит такого уж... Рука Наташи остывала, теряла трепет. Монахов чувствовал ее остановившийся взгляд за своей спиной. Вдруг она выходила.

Монахов же в этот момент как раз затеял рассказывать что-то из тех невероятностей, что нарасказал ему отец, из тех, что он слушал так пренебрежительно. Теперь, слегка редактируя, он обнаруживал в этом все больший и даже пронзительный смысл. Черепахи ползли к морю и плакали... птицы брали азимут по плоской Земле... некое последнее чудовище одиноко выживало в не менее последней Англии...

Зябликов же подобные случаи мог обнаружить в своем опыте.

Монахов восхищался. Смеялся от души и чуть дольше, чем от души, преувеличенно колыхаясь. Пусть был Зябликов умнее, зато Монахова любили, поэтому он не чувствовал себя ущемленно, а даже радовался, что будто стал моложе, будто в детство впал, расположившись в тени старшего друга. Зябликов склонялся доверительно, дышал в ухо:

— Наколка есть, понимаешь?

Монахов согласно кивал, не понимая. Он принимал «наколку» с тою же готовностью, с какой заглатывал «краску» — самое плохое вино, которого на его пять рублей Зябликов сумел купить прямо-таки невероятное количество. «Дело совершенно чистое», — шептал Зябликов. Он знал, где лежит клад. Ему нужен лишь напарник. Напарника найти непросто. Нужен серьезный человек. Получается, что именно Монахов и нужен.

— Единственное, что мне не нравится в тебе... — Монахов насторожился, почему-то тотчас готовый к обиде. — Так это твой трудовой напруг. — Монахов рассмеялся облегченно. — Пусть ты блестящий инженер, что дальше?

Монахов затруднился, что дальше. А дальше — ничего, то же дальше, — вот что сказал Зябликов. А тут сразу — миллион. Ну что ж, Монахов, пожалуй, согласен.

— По рукам!

Входила Наташа. Монахов был весь в беседе.

— Странно, — сказала она. — Какой ты, оказывается, ребенок.

Монахов насторожился: хорошо это или плохо? Льстят ему или колют?

— Мертвый ребенок, — досказала Наташа.

Колют. Но и это лишь потому, что сами уколоты...

— Слушай сюда, — Зябликов покачнулся сидя. — Еще наколка есть...

— Да не слушай ты его! — рассмеялась Наташа. — Что, курган зовет копать?

Зябликов посмотрел на нее преданно и вцепился ей в руку, целовать.

— Да отстань ты! — не зло стряхнула его Наташа.

Зябликов плавно повалился набок и уже спал. Детская улыбка заголила его лицо.

— Морг, — сказала Наташа. — Что же ты, Монахов?..

— А что? — Монахов приблизительно улыбался.

— Предатель ты, Монахов.

Слегка поссорившийся с Наташей, принявший душ, протрезвевший, Монахов стал мрачен. Зябликов лежал все в той же позе на своей шкуре, и впрямь мертвый. К чему все это? Пахло проколом, поражением, своей пошлостью. Всему этому не стоило противостоять. Нагромоздил... Монахов сидел на кончике стула, отвердев, отрешившись, как бы не касаясь даже воздуха этого чуждого лишнего помещения. После душа он был чист и брезглив.

Наташа носилась взад и вперед, накрывая, и он не смотрел на Наташу.

— Не сердись, — Наташа попробовала его обнять.

— Я не сержусь, — скучно отвечал Монахов.

— Ты меня не любишь, Монахов.

— Нет, отчего же...

— Ты не бойся, ты мне и не говорил ни разу, что любишь. Ты мне ничего не должен.

— Разве не говорил?..

— Пощади, Монахов! Очнись! Вот же я! — тормозила его Наташа. — Я тебя люблю. Ты пришел ко мне. Меня Наташа зовут. Милый...

И она зарылась ему в колени. Монахов посмотрел в послед-

ний раз на мертвого Зябликова и зажмурился, поощрительно глядя ее по голове. Замер, постанывая.

И тут, разрывая ему череп, прозвенел звонок.

— О черт! — простонала Наталья, вскакивая.

Хлопнула входная дверь, загудела баском, захохотала тетушка, и кто-то с шорохом птицы пролетел по коридору, задев стены.

В комнату вошел немыслимый, не пролезающий в дверь букет тюльпанов, и, когда наконец протиснулся, за ним оказалось нелепое толстогубое раскрасневшееся лицо мальчика. Он еле удерживал рассыпающийся букет, а из-под мышки у него к тому же выскальзывала толстая книга.

Злое выражение беспомощно доживало на Наташином лице, точно злости не на чем стало держаться.

— Ты не представляешь, как я бежал!.. — с восторгом выдохнул мальчик и выронил наконец книгу, наклонился за ней, и посыпались цветы. Над ним возникла, расплываясь в улыбке, тетушка.

— Ленечка пришел, — объявила она, как новость.

Ну, конечно, это его Монахов видел тогда на базаре...

Наташа вспыхнула, прижала руки тыльными сторонами ладоней к лицу — остудить щеки, и, споткнувшись о цветок, она выстрелила из комнаты.

— Что с ней? — испуганно спросил Ленечка, обводя глазами комнату, ища причину и начисто не видя Монахова, будто он не сидел перед ним все на том же стуле. Выпуклые, цвета самого пустого неба, глаза Ленечки смотрели туда, где только что стояла Наташа, и не видели ее. Это небесное недоумение дало возможность Монахову опомниться, и он поднялся навстречу. Ленечка, так и не увидев Монахова перед глазами, понял наконец, что Наташи нет, и, с досадой отбросив оставшиеся в руках несколько цветков, ринулся следом, едва не опрокинув тетушку.

— Слушай! Слушай! — кричал он на бегу. — Погоди...

Тетушка, поджав губы и не глядя на Монахова, собирала цветы. На шкуре сидел, как стеклышко, Зябликов и смотрел недреманным взором, как она нагибается.

Ленечка яростно барабанил в дверь ванной:

— Открой! Открой же! Мне надо тебе сказать... — ныл он.

И Монахов не все понимал.

Комната, уставленная тюльпанами, еще раз преобразилась. Стол был накрыт, и зажжены свечи. Монахову казалось, что он здесь не первый день подряд, и каждый из этих дней непохож на предыдущий: насколько отличались его представления об этом дне от того, как он начался, настолько же вечер этого дня отличался от его начала. Казалось, все следует в обратной последовательности, будто пленку этого дня прокручивали вспять. Они теперь сидели вокруг стола так, будто это было вчера, как могло быть сначала, но не потом. Так неожиданно все вдруг стало чисто, нарядно и благопристойно. Совершенно трезвый Зябликов был внимателен и приятен для тетушки; Монахову нравились все, но больше всех Ленечка; Наташа нравилась всем, но больше всех хотела нравиться Монахову, которому нравилась меньше, чем хотела; Ленечка никого не видел, кроме Наташи. Чокались шампанским в тетиных бокалах, ели чудесно сохранившийся прошлогодний арбуз. И этот арбуз, особенно поразивший воображение неташкентца Монахова, арбуз, которого не могло быть в настоящем времени, еще

укреплял в Монахове впечатление, что все они сейчас — лишь воспоминание об этом, уже бывшем с ними, вечере.

Наташа была празднично хороша. Что бы там ни было, а то, что происходило в этом «воспоминании» Монахова, в наибольшей степени происходило с нею и для нее, причем не в воспоминании, а сейчас, в ее жизни. Это был ее день рождения, вот в чем все дело. На будущий год ей будет уже двадцать четыре года!.. Ей было страшно и весело. Монахов внушал ей любовь и ужас. Ленечкин восторг льстил и повергал в отчаяние. Сочетание их двоих будило в ней страх и любопытство. Именно испуг и жгучее любопытство, главным образом, освещали ее лицо и так красили, что казались одному светом ее любви к другому, а другому — отражением любви к ней первого. Наташа охотно пылала в этом костерке. Впрочем, Ленечка так любовался, что и не ревновал. Скорее уж Монахов ревновал: «Вот кто любит! Вот кому все!» — завидовал он, глядя в Ленечкино лицо, в эту небесную лужицу, в которой отражалась Наташа. Ах, как оно жило, как дышало! Будто его лицо летело на нем, как всадник: вперед! вперед! к ней, к ней!.. — радостно предаваясь этой скорости. Он все время к ней шел: он к ней шел, приходил, наконец, видел и тогда снова шел. Он шел к ней через стол, через эти два метра расстояния, как сквозь бесконечность, не пугавшую и не останавливающую его. И радостно было Монахову видеть Наташу, и лестно читать в ее зоре, но стоило ему увидеть этот полет Ленечкиного лица, как не мог он не следить с падающим вслед сердцем за этим бесконечным и радостным падением, и тогда уже трудно ему было взглянуть на Наташу, которая ведь не смотрела на Ленечку, а ждала его, монаховского, взгляда. Так голо, так откровенно мерцали ее широкие глаза, остановившиеся на том, что будет, уже скоро, не сейчас, через минуту, через час, но все ближе — решение! Не ее, но чье-то, но известно чье. Она все сделала, все свела, срежиссировала неизбежность и теперь могла только ждать. И ждать было радостно — она ни на что не рассчитывала и не обольщалась, но могла еще тысячу раз надеяться без всяких оснований, как Ленечка мог надеяться сто тысяч раз, как Монахов надеялся еще хоть раз в жизни...

Ленечка без умолку двигался, улыбался своим толстым редкозубым ртом, так ослепительно не стесняясь, плакал от счастья видеть ее своими пустыми, как облачка в высоком небе, глазами и, какую бы безразличную чушь он ни молол, он только признавался в любви, только еще раз, чуть иначе, рассказывал, как он ее любит, как ради нее все, что ни происходит на земле, или, как все, что ни происходит, все — о ней. Наташа не слышала его никогда, но как же она была обеспечена им! Ах, господи! Какая бы глухая, беспросветная наступила бы тишина, умолкни Ленечка, которого она не слышит! Как Ленечке было наплевать, что он некрасив, неловок, нелюбим, не то говорит! Так завистливо любовался им Монахов. Так его же невозможно не любить! — думал Монахов, почувствовав под сердцем неожиданную для себя, такую отвычную теплоту. «Нет, женщина — это чудо, — размышлял далее он, ненароком поймав горящий Наташин взгляд и поспешно избежав какого бы то ни было обеспечения в своем. — Зачем ей я? Ах, как нехорошо!»

Курящая тетя, которая когда-то даже пела на сцене, у которой был без вести пропавший муж, шурилась на оставленный в руке дым, будто он ей лез в глаза, и эта ее значительность, эта ее временность, как бы сосланность в далекий Ташкент,

были хотя и простительны, но так заимствованы и узнаваемы, что Монахов опасался смотреть в ее сторону. Такое мог стерпеть только мудрый человек, как Зябликов (редкий случай, когда циничность успешно заменяет человечность). Наташа, та знала, что за человек ее тетя, сегодня выступавшая в роли матери,— это был репертуар. Монахов же избегал смотреть на тетю все-таки больше потому, что избегал каких бы то ни было подозрений в гарантиях.

— Может, ты прочтешь нам, Ленечка? — сказала тетя снисходительным грудным голосом.

— Да, да, прочтите! — заинтересованно поддержал Монахов.

— Наташа знает, ей не будет интересно,— сказал Ленечка.

— Прочти,— сказала Наташа. Ее обрадовал неожиданный интерес Монахова.— Я здесь пробовала ему прочесть и забыла.

В первый раз Ленечка коротко глянул на Монахова — как на вещь.

— Я его переделал,— Ленечка чем-то огорчился.

— Читай, не ломайся,— приказала Наташа.

— Ага,— сказал Ленечка и зажмурился.— Сейчас. Ага. «Рассвет». Это название. Значит, «Рассвет».

Как будто бы я умер, мир стоял...
В нем не было меня, и понемногу
Он очищался от того, что я
Присваивал, приписывая Богу.

Так чуждо и прозрачно все во всем,
И на глазах последний контур тает,
Деталь случайную на память унесем:
На горизонте дворник рассветает.

Как добродушен и халтурен взмах
Его метлы! Игрушка... Как обидно
Материя мерещится впотьмах:
Сквозь нас видать, коль мне себя не видно.

Концу конец — начало всех начал:
Мир так прекрасен, словно я в нем не был;
Прозрачные значенья не сличал
Со словом, а в начале было небо.

И будто не бывало в нем меня...
...Лежит строка прощальная в конверте —
Какая чушь! — как будто бы два дня
По почте жить удастся после смерти.

Сначала Монахова не покидало чувство неловкости от распева и качания Ленечки. Он, правда, почти сразу поверил, что Ленечка не прикидывается — это он уже знал. Он взглядывал на Наташу, потому что впервые получил такую возможность: она теперь на него не смотрела, волнуясь за Ленечку. «Она же его человек! — подумал Монахов с ревностью и удивлением.— Как она этого не знает?..» Тетя шурилась. Зябликов вертел в пальцах свою «беломорину», аккуратно просыпая из нее табак на газетку.

И что-то понравилось теперь Монахову. То ли он привык и преодолел стыд перед его чтением, то ли успокоился за Ленечку, что особенного позора не будет. Он слушал все внимательней и удивленней, зато Наталья совсем перестала слушать, от волнения — смотрела, как слушает Монахов...

— Скоро конец,— сказал Ленечка.

Беги скорей. Нас взяли на прицел.
Нас окружили ложные понятия!..
Стой до последнего. Пока не жив, но цел.
Ты не прорвешь их ватные объятия.

Вот формула! «Пока не жив, но цел».—
Наркоз, эфир, фасованная прана...
Ты опоздала, я же — не успел.
Ты никогда не просыпалась рано...

Приснись себе. На мой не-мой звонок
Открой босая... Это я. Не рада?..
Не открывай. Взгляни в дверной глазок —
Увидишь отворенной клетку сада.

И нет меня. И будто глубоко
Внизу обрыв. Туман пустой клубится.
Как пролитое мимо молоко...
Твой дом отплыл, отчалил, моя бикса!

А ты осталась на его борту
И смотришь в пустоту припухшим взглядом...
И привкус металлический во рту...
И на лице твоём легка досада.

Ты и не знала, что в саду — обрыв...
Крик петуха застыл там так высоко! —
Вниз не смотри... Калиточку прикрыв,
Ступай домой. Расстанемся до срока.

Все молчали.

— Раньше было лучше,— ревниво сказала Наташа.

— Правда? — с готовностью откликнулся Ленечка.— Мне тоже сейчас не понравилось. Да ну их! — легко отмахнулся он.

Монахов же наконец проникся. А ему как раз очень понравилось — он счел должным сказать об этом и почему-то покраснел.

— Правда? — с Ленечкиной готовностью откликнулась Наталья.— Ну ты, Монахов, молодец! Я не ожидала. А что я говорила? — торжествовала она.— Сам видишь.

Монахов, не глядя на нее, извиняясь и опять краснея, попросил даже переписать стихи.

— Так я вам сейчас перепишу,— согласился Ленечка, благодарно захлопал ресницами, закивал и сел с ним рядом, как с другом. Монахов поразился этой его перемене — или с самого начала он все не так понимал?

— На, пошаби,— сказал во все время не подымавший глаз Зябликов. И протянул Ленечке какую-то, для Монахова неожиданно длинную, «двойную» «беломорину».— Заслужил.

Ленечка радостно заулыбался и взял таинственную папиросу.

— Не смей курить! — рассердилась Наташа.

— Хорошо,— тут же согласился Ленечка и заложил папиросину за ухо.— Тогда давайте выпьем.

После чтения стихов он чувствовал себя, по-видимому, неловко.

— За нашего поэта! — провозгласила тетушка.

Монахов протянул свой бокал с особой поспешностью. Оказывалось, к его собственному удивлению, что стихи произвели на него еще большее впечатление. Впечатление это как бы проявлялось по мере. Он все косился на Ленечку и потуплял взор. Вся нелепость и детскость Ленечкиной внешности несла теперь для Монахова некий отпечаток значительности. Признав, «зауважав» Ленечку, Монахов будто искал в нем непосредственно последовавших за фактом этого признания изменений —

и не находил. Это был все тот же Ленечка, который с удовольствием «запил» свое чтение и скоренько забыл о нем. «А Наташа, значит, его Муза...» — медленно подумал Монахов и этим взглядом посмотрел на нее. Она смотрела на него пристально, будто стараясь различить его в далекой перспективе.

Перспектива эта вдруг покачнулась и сократилась, переломившись надвое. Звякнула сама собою рюмка о близкую бутылку. Качнулась лампа, передвинула тени. Все необыкновенно оживились.

— Ого! — сказал Монахов. — Неужели?

— Около пяти баллов, — гордясь, сказала тетушка.

— Отлично!..

Все выпили за это, повторив в своей памяти толчок всеобщим чоканьем. Все тени успокоились на прежних местах: Монахов, как бы потрясенный живым явлением природы, мечтательно не глядел на Наташу, Ленечка не видел Монахова, как не заметил, кажется, и землетрясения, Наталья же...

— Монахов... — сказала она. — Иди ко мне.

«Ленечка же рядом... Как она может!» — воскликнул молча Монахов и потупился, не выдержав ее взгляда.

— Ты что, не слышишь?

Монахов замычал и замотал головой от непереносимости. Все — смотрели.

Зябликов фабриковал следующую папиросу. Движения его были размеренны и точны (но в этой неторопливости будто еще острее плескалось его нетерпение), чем ближе к завершению, тем медленней, истомля себя, — он удовлетворился наконец ее аккуратностью и плотностью и жречески чиркнул спичкой. Осторожнейшим образом прикурив, он повел себя еще страннее: чуть выпустив дым, он тут же судорожно подвигался за ним, ловя его жадным ртом назад, подгоняя ладошкой утекающую струйку дыма с конца папиросы, — напоминал рыбу из воды. Он был чрезвычайно поглощен, и Монахов не рискнул его спросить, зачем он так, но больше никого это не удивляло. Сделав ряд вот таких вороватых затяжек, он откидывался и расслаблялся, прикрыв глаза; осторожная, слепая улыбка чуть трогала его губы. «Чудак...» — думал Монахов. Тетушка, лишившись Зябликова, шурилась на Монахова. Выходит, Монахов зря полагал, что она настроена против, наверно, она, не выпив, стеснялась. Она посмотрела на Монахова и стала тихо, но как бы профессионально напевать: «Я притаилась, не говорю ни слова...» «Алкоголичка», — подумал Монахов.

«Что им от меня надо?» — восклицал он как бы неприязненно, имея в виду свою неотразимость. «Кайф...» — блаженно пробормотал Зябликов. Натальин голый взгляд по-прежнему прижигал его. Со страхом он покосился вбок, на Ленечку — тот все так же неунывно, с тем же немим восторгом смотрел на Наталью, будто одного этого ему было навсегда достаточно. И ничего не видел.

— Не слышишь?..

— Не слышу, — глухо и жестко сказал Монахов.

Наталья хлопнула дверью.

Ленечка дернулся за ней.

«Надо было мне не приезжать... Надо было мне улететь... Вот наvertел: неизвестно, что надо». Монахов затосковал. «Неужто он ничего не видит! — рассердился он тут на Ленечку. — Я здесь — ежу понятно, зачем и почему. Я бы на твоём месте... не знаю даже... давно убил бы меня! Как он выносит все это?..» Монахов сурово подвинул себе бутылку, выпил

полный стакан в решительном одиночестве и сделался демонстративно мрачен. «Господи! что же это? Умер я, что ли? Что ж это я не люблю никого... Ни ее, ни жену. И себя не люблю. Да ведь и маму тоже!..» — он подумал это словами и впрямь ужаснулся. А ведь любил! ведь как любил... Вот так, как он, и любил! — догадался он и зажмурился — так внезапно подступило все из глубины его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера, и, главное, не в последовательности, не в протяженности, а сразу, вместе, будто на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу: и сегодня, и вчера, и завтра — в одном пространстве. Это так ослепительно подступило, но как только он стал припоминать последовательность, так сразу и отступило, и осталось ощущение, что секунду он был Ленечкой, сидел на его стуле, разглядывал Наталью и ничего не было, кроме... Вот что, однако, зацепилось, прилипло в черепе из этого слитного кома: то, чего он совсем уж никогда не вспоминал, а тогда, двадцать лет тому, внимания не обратил... Да, вот так-то: тогда этого с ним и не было, астряслось сейчас. В эту минуту, через двадцать лет, с ним случилось то, чего он тогда и не заметил, и не увидел, не понял, не хотел, не мог понять, чего он не принял бы тогда никогда и ни за что...

...Ася работала на оптическом заводе... Линзочки эти сейчас отчетливо вспомнил Монахов, она их приносила как-то, хорошенькие такие. Работала она в две смены, и вечерняя была удобна для юного Алеши Монахова: он мог приходить к Асе с утра, когда никого в ее квартире не было, а его родители считали, что он в институте. Да, так он и жил, через неделю. Но как-то раз выдалась и вторая неделя подряд: Ася бюллетенила... И вот он прибежал как-то пораньше, радостный, мечтая застать ее еще сонную... но застал ее совершенно не сонную. Она сидела в своем застиранном, излюбленном им халатике с готовым, дневным лицом, и напротив, через стол, сидел какой-то мужик с бутылкой портвейна. Теперь удивлялся Монахов, что тогда он не растерялся и не удивился, а лишь сразу задосадовал от помехи. По одному виду этого мужика юный Алеша был уверен, что это никак не предмет его ревности. Мужик был из другого мира, очень некрасивый, неважно одетый и немолодой. Теперь же, когда Монахов разглядел его через время, было очевидно, что мужик был по случаю выбрит и наряден, и не был он вовсе стар, а очень даже крепкий и свежий был мужик. Они нисколько не смутились его приходу. «Это... (вот фамилию Монахов забыл) мой мастер, я тебе о нем рассказывала, мой учитель,— сказала Ася.— А это мой Алеша». Монахов вспомнил его здоровое, гладкое рукопожатие и взгляд. Да, что-то она действительно ему упоминала прежде раз-другой, что есть такой — комплименты говорит, приглашает куда-то. Алеша не обратил внимания, ему было скучно все про ее завод. Теперь-то Монахов уже знал таких мужиков, видывал. Теперь он видел, что и взгляд был не глупый, хваткий, слесарный такой (слесари чаще не глупы), что и держался он со своим достоинством, причем привычным, что и для себя, и для других был он неплох и на месте, прочный человек. Ведь, кроме этого, первого, уместного, взгляда, ни разу он не повел себя ни ехидно, ни с намеком, ни проницательно, ни с превосходством. Да, вполне был мужик... Ах, теперь Монахов гораздо лучше расслышал ее рассредоточенные, вскользь упоминания о нем! Чего хотя бы стоил рассказ Аси о том, что была у мастера после войны невеста, литовка или латышка, где

он воевал, и очень они любили друг друга, и она трагически погибла: оправила задрвшуюся юбку (вот непридуманное место в романсе!), когда они влюбленно летали на качелях, и упала прямо на пики садовой решетки... Когда рассказывается такая история, а?... И значит, до сих пор не женат — об этом Ася тоже помянула. И зарабатывает дай бог. М-да... Хорошо держался мужик: не заговаривал зубы, не мельтешил, кажется, только и сказал, что предложил портвейну, но и на этом не настаивал. А только сидел прочно на том же стуле, и словно стул под ним становился прочнее. Монахов видел его теперь так рядом, этого мужика, о котором не вспомнил во всю жизнь ни разу: этот серый, добротный, что называется, костюм, отутюженный по-флотски (ага, еще поминала Ася: он служил на флоте...), синюю рубашку, костистое лицо с моложавой кожей и особенно отчетливо почему-то — волосы, чрезвычайно прямые, до сих пор неподатливые, кажется, он и при Алеше время от времени причесывался... был он, пожалуй, и не русский, а какой-нибудь чуваш или мариец, откуда-нибудь оттуда, сообразил теперь Монахов. Говорят про чувашей, что у них феноменальная потенция... Монахов еще отчетливей приблизил его лицо: этот срезанный затылок с торчащим хохолком, эти слоновьи неглупые глазки с недостатком век, этот кривой и длинный, волнистый, костистый нос... да и то, что кое-кто мерит носом, было у него, пожалуй, не короче... У-у, жлобина! — застонал теперь Монахов, но кулак его не проникал сквозь толщу лет. Это ладно, успокаивал он себя, это бог с ним... Трудно заподозрить свою первую любовь с таким неромантическим соперником... Но ведь дальше, дальше-то что было! Ужас. Просто ужас. Мастер наконец (попросила она его выйти или не попросила?... не помню) встал и вышел, но не навсегда, а должен был вернуться вскоре, оставил свой портвейн... Ася сидела на кровати, Алеша стоял на коленях, целовал ей руки, лез к ней. Ася говорила, что нельзя, что он скоро вернется. Вообще она что-то подозрительно много объясняла, почему тот пришел, как она от него на работе зависит, чем ему обязана, что за его спиной ей там все-таки легче, что он давно уже напрашивается, что она не могла отказать в конце концов, что он скоро уйдет, а Алеша вернется, а пусть пока Алеша уйдет. Но Алешу почему-то вовсе не занимали ее объяснения, интересно ему слушать про какого-то человека, которого для него не существовало ни при каких условиях... и вот что, кажется, произошло теперь, на глазах у Монахова... ах, ему и теперь невозможно было в это поверить! Будто Ася все-таки уступила Алеше. «Ладно, скорей», — сказала она и была как-то не то рассеянна, не то скучна — холодна. А Алеша был счастлив и подымался с колен с торжеством, с которым и взглянул на почти тут же вошедшего «товарища по работе». После чего быстро попрощался и, послушный Асиной воле, ушел, ни о чем не задумываясь, чтобы никогда не вспомнить потом. А «товарищ» — остался... Ох-хо-хо! вот те и страдания юного Вертера! — взвыл про себя Монахов. — Это что же получается с историей его чистоты и причиненных ему страданий? Ох-хо, Боже, как мы живем! Чего уж тут удивляться на Ленечку-то...

Тут Монахов отвлекся хотя бы настолько, чтобы вспомнить, где он. Он поднял глаза на Ленечку удостовериться в своем открытии. Так Ленечки за это время не стало. И Наташи не было. Зябликов спал. И как раз в этот момент, позевывая и подчеркнута скучая, поднялась со своего места тетушка и шла

к себе, с личной рюмкой в руке, спать, не сказав «спокойной ночи», обидевшись, наверно. Наверно, эти тетушкины звуки и пробудили Монахова от воспоминаний — так сколько же он вспоминал? Секунду или час? Если час, куда они вдвоем на так долго делись?.. — подумал он без задней мысли.

Дверь за тетушкой притворилась — Монахов вернулся к своей истории... Нет, это что же за фокусы! — возмущался он. Да как же я смел не видеть, как страшно она жила! Нищая, бедная девочка! Вот что значит влюбленные — слепы!.. Слепыто они слепы, да как ловко. К себе и слепы. Видят, что только захотят. Что только захотят, то и видят. Так что же, я и тогда не любил?..

Шумно и бойко входила Наталья, а за ней, как слепец, с запрокинутым застывшим лицом, неся в нем плещущие свет и боль, словно боясь расплескать, медленно шел Ленечка. Она прошла прямо к Монахову, потрепала его по голове.

— Монахов, милый, я тебя бросила, прости. Ты скучал?

Монахов смотрел неприветливо.

— Ты не сердись, Монахов... Должна же я была ему сказать, — добавила она вполголоса.

— Что́ сказать?

Ленечка тем временем прошел, как стеклянный, словно бы тоненько позвякивая, мимо них и дальше, пока не уперся — там и остановился, у окна.

— Что я тебя люблю, что хочу остаться сейчас с тобой...

— Ты же говорила, что уже сказала?.. — шепотом просветил Монахов.

— Да нет, — поморщилась Наталья, — вот сейчас сказала.

— А зачем же ты мне тогда сказала? — не понимал Монахов.

— Хотела посмотреть, что ты скажешь.

— И что я сказал?

— Да ничего ты не сказал, не бойся.

— Так, может, ты и сейчас не сказала, а только говоришь?..

— Тьфу, Монахов. Сказала. Тоска, Монахов... Сердца у тебя нет.

— А у тебя есть — такие вещи ему говорить?

— Как же я могла не сказать? — искренне удивилась Наталья. — Я хочу быть вместе с тобой...

Монахов пожевал этот ответ.

— Так ты что же ему сказала? — наконец сформулировал он. — Только, что ты меня любишь и хочешь остаться со мной? Или что ты уже... как ты говоришь... «была вместе со мной»?

— Господи! — вспыхнула Наталья. — Какая разница! Будто неясно? Я что, девочка? Была, не была... Сказала, что люблю, и баста.

— Ну тогда-то что... Тогда ничего, — усмехнувшись, сказал Монахов. — Обойдется.

— Ты о чем? — не поняла Наталья.

— Сознанием обойдется. Не такие вещи обходились... — Он опять усмехнулся. «А я ведь играю... — подумал он. — Я ведь роль играю. И до чего же плохая написана для меня роль!»

— Ну, ты даешь, Монахов!..

— Я пойду?.. — неслышно сказал Ленечка, наконец сообразив, что уперся во что-то, и повернувшись от окна. Он не слышал, что они говорили.

Наталья не услышала его.

— Я даю... Ты — даешь! Человеку в лоб такое залепить! — громко шептал Монахов.

— Ничего. Это не так страшно. Страшно, пока не скажут. Вот ты же мне не сказал еще, что не любишь меня... И страшнее, чем сейчас, мне никогда не будет...— Монахов и сейчас не сказал. Наталья вздохнула.— А даже скажешь — не поверю. Сам сказал, что обойдется. Стихи напишет...

— Я пойду? — сказал Ленечка звонче.

— Стихи?..— востепенулся Монахов.

— Ты еще здесь? — удивилась Наталья.

Ленечка покорно шагнул к дверям.

— Постойте,— сказал решительный Монахов.— Там ведь еще осталось...— Он прошел к столу, разлил в бокалы и галантно раздал их действующим лицам. Ленечка вцепился в рюмку, как в соломину. Наталья отвернулась.— И вы мне обещали еще стихи переписать...— сказал Монахов, чокаясь с Ленечкой.

— Я сейчас... Я...— Он глянул на Наталью с испугом и надеждой,—...мигом. Я быстро перепису.— Он поспешил, пока Наталья молчала, в угол, на шкуру, и там пристроился с книжечкой.

— Сволочь ты, Монахов,— спокойно шепнула Наталья и прошла в свой угол, на матрац.

Монахов тоже уселся на шкуру и теперь оглядывал сцену с тоскливым удовлетворением: Зябликов по-прежнему мертвецки спал, Наталья лежала лицом к стенке (интересно, открыты у нее глаза или закрыты?..), Ленечка, согнувшись в три погибели, близоруко и быстро писал в книжечку на колене... «Так по-детски...» — вздохнул Монахов, схватывая его позу.

Он утомленно прикрыл глаза (все-таки на случай — Наталья обернется)... «Ты и не знала, что в саду — обрыв...» Надо же! сразу запомнил. Значит, что-то есть. Вернее, может быть. Спросить бы Зябликова, что он думает, он ведь не высказался... Вот Наталья говорит, что он писатель замечательный. Подумать только, издается во всем мире... В Париже... Монахов легко представил себе Париж, в котором не бывал, и с трудом — Зябликова, который спал напротив. А вдруг Ленечка — великий поэт? Смешно. Быть не может. Что я в этом понимаю? А вдруг?.. Тогда кто я? Дантес, Мартынов? Бред какой-то... Странные люди. Не думал, что у Натальи — такая среда. Причем в Ташкенте. Другие люди. Богема, мать...

До сих пор еще есть разные люди — вот чего я не ожидал... И как все похожи! Одинаково у всех. И у разных одинаково, не только у одинаковых. И через двадцать лет одинаково, а может, и через миллион — какой-нибудь членистоногий наш мутант будет сортировать те же ракушки... Хоть и нет. (Ленечка все царапал на своем колене.) Он — не я, да ведь и двадцать лет — разница!.. Он представил вдруг, что у них с Асей мог быть вот такой сын. Ужас! Нет-нет, это он зря: Ленечка уже другой, не такой, как он... Разве я знал сотую долю столько, сколько он уже понимает в своих стихах?.. Однако странно: в стихах зряч, здесь слеп. Неприменимость забавна... Я был такой же. Разве я стихов не писал? Но, господи, лучше не вспоминать — что это были за стихи! Может, все-таки у него талант?.. Мне-то какое дело!..— рассердился Монахов. Ну талант,— так я, что, должен истории бояться? Авось в школе меня проходить не станут. Допустим, мне выпала такая же роль, как Дантесу, так разве меня царь ему подстроил? или враждебное талантам общество? Смешно. Пожалуй, это очень как раз непочтительно относиться к талантам не как к людям,

а как к достояниям, как к шутам гороховым; уступать им своих дам, не стреляться с ними, считать, что это божья роса, а не они вам плюнули в рожу... М-да, нет, я темный инженер, слепое орудие в руках судьбы. Так честнее. Я хочу спать с Натальей, ради этого огород городил, жену и родителей перешагнул, и она хочет того же. Не достаточно ли? И если я ради него откажусь, разве не сыграю ровно ту же роль в отношении его, если не хуже? Наталья ведь, в обиде на меня, как с ним-то обойдется? Хороший мальчик, я полюбил его. Хотя кого я люблю?.. И я был хороший мальчик. Так что же, тот мужик, увидев мою как бы святую простоту, должен был перекреститься и бежать? Он и так поступил по справедливости, по-братски... Ужас! А вот еще ужас, если Ася тогда... Может, он вернулся, а она как-нибудь открутилась и ничего у нее с ним не было? Не дотянешься, не допросишься, не узнаешь ровно никогда. А если все-таки не было, кто же я тогда, что так все теперь понимаю?! Морг, как говорит Наталья. А даже, если было, все равно — морг, раз уж узнаю, и знаю то, чего сердце не должно знать умом своим, а не мозгом (моргом) вшивым. Что же делать с Ленечкой? Зачем я ввязался, болван! Ишь расчувствовался, сердечность несуществующую почуял. Сколько раз еще мне обманываться, что я есть, когда меня нет? Впрочем, с каких это пор меня нет? А — с давних. Боже, что же это за пытка — без любви! Все обманываешься, все надеешься, а — дудки! По губам помажет — и все. Мимо. С сердцем, видите ли, чувствуют, а без сердца — нет. А то, что нет сердца, это ли не чувство! Да это ад прижизненный, да еще и за неведомый грех. А с сердцем — грехи, да радуйся. Кому хуже, неизвестно. А может, у меня огромное, доброе, щедрое сердце? А я и этого не знаю, есть оно у меня или нет. Бьется там что-то, трепыхает, а что это? Вот и спрашивается, если я любил Асю сильнее всего в жизни, то любил ли я ее вообще? Я ведь ничего не помню — огромный темный мешок. Казалось, с миновавшим счастьем, а сунул туда наугад руку — такую дрянь вытащил, что больше и не суну, и вспоминать не буду. Так правильнее будет, сердечней... Ничего не помню. Лица ее не помню. Любви ее не помню. И ведь действительно — не помню. Казалось, смерть моя — расстаться с ней, а разрыва — не помню, ни боли, ни трагедии — ничего. Просто должен был умереть, каждую секунду грозила мне гибель, а секунда прошла — я и не заметил. Просто не стало Аси — и все. Не помню. Что-то все-таки вроде было, какая-то драма, не могло не быть. Нет, не помню... Помню, что была Ася, а потом ее нет, и я почему-то на пляже...

— Я написал,— прошептал ему Ленечка в ухо.

— А...— Монахов очнулся.

— Только я другое написал. Не то, что читал.

Монахов взял листок. Ленечка сжался в тихий комочек. Монахов пробежал глазами, что-то зазнобило в спине, защипало в глазах, текст поплыл, Монахов снова навел на фокус — крупным, деревенским почерком было написано вот что:

Эта женщина недописана,
Эта женщина недолатана,
Этой женщине...

Строчки покачивались, легко вбегая в мысленный слух Монахова; он их с удовольствием не все понимал...

Вот сидит она, непричастная,
Непричесанная — нет ведь надобности.
И рука ее не при часиках,
И лицо ее...

Вдруг понятен стал Монахову наговор — и он в с е понимал.

Что мне делать с ней, отлюбившему,
Отходившему к бабам...

— Ну-ну! — ласково усмехнулся взволнованный Монахов.

Подарить на грудь бусы лишние?

— Ах! — охнул Монахов и от наслаждения пропустил следующую строчку.

Ничего-то в ней не раскается,
Ничего-то в ней не разбудится.
Отвернет лицо, стонит пальцы,
Незнакомо-страшно напудрится.

Монахов это у в и д е л, полный восторг владел им.

Я приеду к ней как-то пьяненький,
Завалюсь во двор, стану стекла бить...

Монахов почти плакал, последние строчки неотчетливо плавали в его глазах и вдруг кончились.

— Потрясающе! — сказал он.

Ленечка был более смущен, чем польщен.

— Вы печатаетесь? — стыдливо спросил Монахов.

— Не, меня никогда не станут печатать.

— М-да, — сказал Монахов. — У нас ничего не осталось?

— Тс-с! — сказал Ленечка, покосившись на лежавшую к стенке Наталью, и приложил палец к губам с видом плута. Он прокрался на четвереньках, порылся за шкафом под шкурой и приполз с бутылкой «краски» в руке и папиросиной за ухом.

— Вот, — сказал он шепотом. — Зябликовская заначка.

Монахов глянул на Ленечку, потом на «великого писателя» и развеселился: одно условие величия было выполнено — тот был все так же мертв: ни кровинки не трепетало на его лице. Посмотрел в спину Наталье и снова перевел взгляд на Ленечку — тот был вполне доволен. «Да полно, — подумал Монахов, — сказала ли она Ленечке хоть что-нибудь на самом деле? Может, только мне наплела? Может быть, просто велела ему уйти, не вдаваясь в объяснения?.. Мол, приказ — выполняй...»

Ленечка откупорил, обтер горлышко и передал Монахову.

— Только жрать нечего, — сказал он. — Жрать скоро — ужас как захочется! Буханку враз можно умять без воды.

«Какой же он мальчишка!» — восхитился Монахов.

Они сидели на шкуре, касаясь плечами, отхлебывали, передавая — и им было хорошо. Это Монахов отчетливо понял, что не только ему, но и Ленечке. Ленечка смотрел теперь на Монахова почти теми глазами, как на Наталью. Монахов не ожидал, что Ленечка так искренне, так вдруг, так весь потянется к нему как к другу. «Просто он весь такой, — подумал про него Монахов. — Весь». Он меня и любит, быть может, потому, что меня любит Наталья... — вдруг предположил он. — Вот он и тянется ко мне как к брату... «Как к отцу...» — слезливо подумал Монахов. Но эта мысль скользнула и ушла — она была не по адресу: у него ведь был сын. «Школьник...» — вздрогнул Монахов.

— Хотите? — Ленечка протянул ему дымящуюся папиросу. Монахов благодарно кивнул и жадно затянулся.

— А ты школу кончил? — спросил он задумчиво.

Школу Ленечка бросил.

Монахов попробовал наставить его на путь. Ленечка слушал вежливо, но безнадежно, выжидательно взглядывая на Монахова. И Монахов отказался от темы.

Заспорили о поэзии, в которой Монахов стал неожиданно много понимать.

— Да нет,— говорил Ленечка,— какой я поэт! По сравнению с этим вот,— он кивнул на листки в руках Монахова,— я ничего еще не написал.

— А по-моему, то тоже хорошее,— настаивал Монахов.— По крайней мере, с середины.

— Да ну, турусы на колесах...

Обоим стало страшно смешно. Монахов представил себе таких уж «турусов» на колесиках специальных, что чуть не плакал от смеха. Ленечка заходился, на него глядя.

— Во! — смеялся он.— Во-во!

— Тс-с! — прикладывал палец к губам Монахов, указывая на Наталью. Они пытались смеяться шепотом, давились, толкались — школьничали.

Монахов был счастлив этим ровесничеством с Ленечкой.

Их смех и тычки вдруг переросли в борьбу на школьной переменке. Они катались по шкуре, возясь и фырча. Весело! Монахов все-таки запыхался — вдвое старше, хотел передохнуть — не тут-то! Ленечка налетел на него с азартом и резвостью щенячьей. Смеясь, поддавался Монахов, пытаясь отдышаться под Ленечкой. Но Ленечка увлекся — дитя! — давил, сопел, и вдруг Монахову показалось, что глаз у него яростен. Монахов опомнился и легко скинул его с себя. Ленечка тут же затих.

Что-то кончилось.

Монахов отдышался, остыл, даже застыл все в той же позе, привалившись к стенке, глядя в спину Наталье. Ему не хотелось ни двигаться, ни говорить. Даже взгляд он не мог передвинуть. «Набрался-таки...» — подумал он.

Так он смотрел перед собой в ту же точку и с легкостью представил себе, что его нет, что он — умер.

Какая-то неодолимая прозрачность пролегла между ним и Натальей. Наталья — всплыла и словно повисла над матрацем. Монахов будто уже и не сидел, а стоял в ясной дрожи, но какой-то волос преградил ему дорогу. Не стало стены — там друг на друге сидели луна и фонарь, и этот двойной свет остановил все на земле, словно все, и их, и его, залили наипрозрачайшим веществом, и они там, как мухи в янтаре... «Так выглядит прошлое...» — подумал Монахов.

...Он действительно до странности не помнил, как они с Асей в конце концов расстались. Тут не пролежала никакая боль. Сюжетная развязка отсутствовала. Помнил отчетливо — некий пляж, но он там был уже без Аси. Это было первое его воспоминание после Аси, а они не виделись к тому времени уже год. Что это был за год? Что в него помещалось? Ничего, пролет, первая остановка — пляж Петропавловки, где все замерло в эту секунду, как на фотографии. Сначала он совсем об этой странности памяти не думал, принимая ее как должное, как благо, потом его начало разбирать даже любопытство, что же случилось, куда делось?.. И с самым большим напряжением, причем ровно через год, выковыривалось что-то смутное: перехват

какого-то письма, когда они уже не были вместе, какая-то обидная поездка на летнюю дачу детсада (Ася снова работала по первой специальности) под предлогом забрать увеличитель. Он не мог найти эту дачу, нашел, и Ася там, к удивлению, оказалась. Но дальше опять ровно: бредет он обратно по тому же лесу с оскорбительным увеличителем в руке. Но и про увеличитель тоже как-то так... — не фантазия ли? — увеличителя потом у него дома не оказалось, и, если он и впрямь за ним ездил и забрал его, то куда он потом делся?.. Все это, повторяю, смутно, неопределенно: ни ссоры, ни драмы, ни травмы, будто и не было, и год прошел после — его тоже не было, но тогда с чего же начинался обрыв?

Последнее его воспоминание об Асе, на котором все кончалось, был сон. Ему подряд снились страшные сны, с каждым днем тревожней, опаснее и страшнее. Но этот, последний, был самый страшный, и после, начисто, как бритвой, сны вообще сниться перестали и не снились никогда до тех самых пор, которые он мог определить лишь условно, то есть словом «пляж». Вот тогда ему впервые перед сном промелькнуло что-то: какие-то угольнички, часики-колесики, обломки, ножка целлулоидной куклы, шестеренки. Позднее, когда начались первые ажиотажи с выставками западной живописи, ему казалось, он что-то узнавал на некоторых картинах из вот этих обломков, мелькавших перед глазами на краю черного сна. И, ничего не смысля в жизни, он находил такие картинки вполне реалистическими. А первый складный сон приснился ему, когда он встретил свою будущую первую жену. Он проснулся с нею рядом в поту, все от того же страшного сна, и долго разглядывал ее рядом, незнакомую и спящую, как вариацию того же сновидения. Вскоре он на ней и женился.

Он помнил этот сон как последнее, что было в их с Асей жизни, но опять же не помнил, после чего был этот сон, с чем связан, какие события предшествовали, так что никакой связи с реальными событиями своей жизни установить не мог.

И вдруг то ли он вспомнил наконец через двадцать лет этот сон, то ли уснул и увидел его вновь.

...Он был в бесконечном городе-доме, городе под крышей, вроде театра — вокруг шныряла закулисная жизнь. Он знал, что здесь Ася, и расспрашивал дорогу у встречаемых. Они его направляли все дальше и дальше, — сгущалось, темнело, душнело в этом закулисном мире, и все мертвее и раскрашенной становились лица людей, пока не стали откровенно-аляповатыми масками из папье-маше. Он знал, что происходит ужасное, что надо спасти Асю, что она там, что эти мертвяки нарочно путают его, и вот по одному лишь чувству, не спрашивая у них дорогу, он бросился прочь, т у д а — там Ася!.. Он бежал, и все просторнее, светлее становилось ему — можно было дышать. И мертвяки все реже попадались на пути, испуганно отпрявывая в сторону и вжимаясь в стены... И вот впереди забрезжил окончательно — свет, вздох, воля! Потолок был высоко, как в храме, и помещение стало грандиозно по размерам. Он увидел перед собой широченную лестницу. Она уходила вниз как бы каскадами: в конце ее, в глубокой глубине, он едва различал стену — лестница упиралась в эту стену. Стена эта была вдали перед ним, и он поднимал по ней взгляд, пока не стал смотреть прямо над собой: там стена кончалась, переходя в высокий сводчатый потолок. Он понял, что надо бежать по лестнице вниз, и побежал с удивительной легкостью. Он перелетал сразу через несколько ступеней, такими длинными

неошутимыми шагами, и бежал все быстрее. Он услышал крик за спиной, сразу много голосов. Оглянулся через плечо: лестница уходила уже далеко вверх, и там, на самой верхней площадке, там, где он только что стоял, увидел толпу с мертвыми лицами: за передними все прибывали, набегали другие, грудились, громоздились, стояли над лестницей, как над обрывом, пропастью и кричали в ужасе. Ему вдруг стало весело, он так и бежал вниз все быстрее и в то же время как бы со стороны видел себя бегущего: тело летело вниз, голова же, как у шута, была назад на 180 градусов и смотрела вверх, на толпу. Те тыкали вниз руками, громоздились друг на друге, кошмарные желтые лица, и кричали в страхе: «Он же стукнет в стену!» Ему все веселее становилось от этого крика, он понимал, что добежит, стукнет — и все рассыплется, ничего уже этого не будет. Он летел. Стена была совсем уже перед ним, с весельем заносил он руку, как вдруг у самой стены скорость погасла, словно он натолкнулся на неошутимую и упругую, как бы пневматическую, преграду, он повис на стене, а рука в сильном замахе остановилась в миллиметре от стены и бессильно поползла вниз, и, весь обмякнув, оползал он вниз и только видел высоко над собой, так высоко, что и не видел уже, стену...

От открыл глаза, но неприятное ощущение, что он не в силах пошевелиться, не чувствует ни рук, ни ног, все не проходило. Будто он мертвый. Вскоре его несусеверный ум все-таки справился, но омертвление всего тела, которое он ощутил только что, действительно было странным, и его он объяснить не мог. Потому что это не было так, что он отлежал что-то. Способность двигаться и ощущать тело вернулась внезапно, без всяких «мурашек» и покалываний, связанных с восстановлением кровообращения. Он должен был что-то вспомнить, но бедная его голова никак не могла сделать этого усилия. Не то чтобы, как положено говорить в таких случаях, от этого зависело все: это было просто надо — вспомнить. Но там была словно бы тугая пленка в мозгу, она выгибалась, за этой пленкой было как раз то, что надо вспомнить, но пленку никак было не прободать.

— Монахов... — услышал он. — Монахов!..

Он безумно хотел спать. Он не чувствовал тела и лежал как в воздухе, как в вате. Рядом с ним лежала теплая Наташа, он узнавал ее голос, но был не в силах приподнять веки. Он только обнял ее крепче, шевельнул губами и снова поплыл, заскользил невесомым телом в яму сна.

— Монахов! — Голос раздавался странным образом не оттуда, не сбоку, где Наташа, а сверху падал на него. Эта странность вытянула его из сна, он приоткрыл глаз и увидел голую ногу, вернее, ее большой палец. Это была тоже Наташина нога, но пальца ее он никогда так близко не видел. А обнимал и прижимал он к себе, он быстро сообразил, не Наташу, а спящего рядом Ленечку. Это умилило Монахова.

— Монахов!..

Он закрыл глаз и прикинулся спящим, решительно не желая просыпаться еще раз в этой жизни. «Этот палец надо было бы любить, чтобы видеть...» — подумал он сквозь эту неохоту...

— Ты же не спишь, Монахов! — Голос над ним звучал с любовью. — Иди ко мне, Монахов! — Монахов зажмурился от страха. — Сволочь ты, Монахов! Убила бы я тебя сейчас...

«Да ради бога...» — подумал Монахов. Но Наталья не убила, а босо и тяжело ушла.

Он не знал, приснился ли ему его сон наново или он уснул

с воспоминанием о нем, но это было самое отчетливое, с чем он опять провалился в небытие. «Вот тогда я и умер, когда не умер,— спокойно успел подумать он.— Вот тогда и погиб, когда не погиб...»

Тут были и бесконечные оттенки неподуманного...

Он спал.

Он проснулся отчетливо, полностью, весь, но глаз не открывал. Было зябко и стыло, он лежал одетый, задеревеневший, на полу. И кто-то прижимался к нему калачиком, грея бок, притираясь и причмокивая.

Монахов открыл глаза и увидел рядом Ленечку. В комнате светало. Никого, кроме них двоих, не было. Монахов вспомнил все, сразу, весь вечер, словно все, что в нем было, произошло не последовательно, а одновременно, в одной плоскости. Он вспомнил и отодвинулся от Ленечки почти брезгливо. Ленечка тоже, по-видимому, к утру замерзший, сжался в еще более жалкий, утробный комочек и проскулил, как зверек.

В утреннем свете, зло хрустя остывшими конечностями, обозрев все события последних дней, Монахов так сказал себе: все проще в этом мире, а мы — накручиваем. Он прошелся по квартире и не нашел следа ни Наташи, ни Зябликова. Грубые мысли пришли в контраст вчерашним: как же это он сразу не понял роли Зябликова? — более чем странно... Кому же здесь было выступать в роли Монахова до Монахова — Ленечке, что ли? Да и Ленечка... Куда они тогда уединялись? Надо же было так перекосяться! — перебирал Монахов все свои вчерашние мысли и чувства. Надо же, чтобы воспоминание об этом оптическом мастере так подействовало на него!.. Чего ради он отказался от Наташи, задержал Ленечку — неужто ради Зябликова? Досада распирала его. Люди... думал Монахов, взглядывая на свернувшегося, как зверек в норке, Ленечку,— что это за зверьки такие — люди? И все-то их постройки и системы, обличения и муки ради овладения обыкновенной самочкой!.. Все это такой свадебный ритуал, танец, перышки дыбом, все это вранье, утайки, авантюры, расчеты, надо же так сложно кружить, чтобы совершить действие столь простое и обоюдное, что и до чрезвычайности доступное. Мотылек в лампе.

Монахову было обидно, досадно и ясно все. В прихожей он нашел корзину и портфель и выскользнул на улицу.

Утро обдало его чистотою и свежестью, широким злым шагом удалялся он. Розовело, мягко улеглась пыль, и воздух был густ и прозрачен. Монахов шел, раздвигая утро, и так вот рано, так дрожа, в такой ясной пустыне — он давно не возвращался домой. Он легко поменял пространство и шел теперь совсем в другом городе, с другого, вроде бы тоже неудачного свидания, и душа его странно оживала, удивляясь себе и ликуя.

Вот иду домой, точно в озере .
Карасем иду из мошны.
Столько женщин мы
К черту бросили,
Скольким сами мы
Не нужны.

Конечно, детский лепет, но первая строка...

Строка повисла в воздухе, как утренний парок над землей.
— Господи! — воскликнул Монахов.— До чего точно!

Вот иду домой, точно в озере...

Ленечкина строка была как это утро и вмещала его. И это утро помещало себя в эту строку целиком. Они были равны. Они были одно и то же.

Он теперь отчетливо знал, что ни Наталья, ни Зябликов, ни Ленечка ни при чем — один только он, Монахов. Он клял себя теперь перед этим утром — все, кроме него, были достойны рассвета... Он все теперь знал, как было, как есть, — в этом не было тайны. Однако кое-чего он по-прежнему не знал: например, что Ленечка переписал для него не свои стихи, другого поэта * — просто они так понравились Ленечке, много больше своих... но это было и не так важно.

Ах, зачем же я так! — заскрежетал Монахов. Но не остановился, не повернул назад, а даже припустил по пустой розовеющей улице прочь. Прочь от пустого места рядом с Ленечкой и от пустого места рядом с Наташей — тоже прочь.

4

День в аэропорту Монахов прожил в сумерках. Что бы ему ни предложила эта неуютная действительность, он все сносил. И жару, и тесноту, и бесконечное время... Он казался себе недостойным и этого. Жизнь безгрешных пассажиров мыслилась ему простой и понятной, а то, что они невинно не подозревали его, монаховских, бездн, не выделяли его из своего общего тела ожидания, как прокаженного, — было не заслужено им, как и все благоденствие дарованной ему жизни. Так возвышенно понимал он свое унижение. Так унижал он себя, дабы слегка подрасти в собственных глазах, собирая милостыню безучастных взглядов. «Есть! есть еще выход... Не все потеряно, пока он еще есть!.. Затеряться среди людей, раствориться в них... слиться, исчезнуть... уподобиться, сравняться...» — чем больше находил он смирения в глаголе, тем больше тот устраивал его. Глаголы эти цепенели в теле Монахова, и боль утихала. Он вздыхал, словно ей вслед, как она его отпускала. Чем щедрее впускал он в себя всю эту окружившую его, столь безразличную к нему жизнь, чем готовнее принимал всех тех, кто никогда не нуждался в его ласке и не посягнул бы на эту его готовность, даже если бы мог заметить ее, — тем словно выносимее становились его близкие, так вплотную обступившие его: и жена, и Наташа, и Ленечка, и мама, превратившаяся в корзину с фруктами, — тяжкий упрек, на дне которого Монахов уже подозревал фруктовую кашу. Пока не протекало.

Рейсы задерживали, но к нему это пока не относилось: до самолета оставалось все то же количество невыносимых похмельных часов — стрелки зависли во времени, будто само время стало, оттого и самолеты не могли лететь, и люди, все те же, не трогались с тех же кресел. Но билет у Монахова был — гарантия возвращения в кармане — Монахов был готов терпеть: там, куда он летел, его ждали, там ничего не было испорчено вчерашним днем, оттуда легко вычиталась вся его командировка — там не бывало его прошлого, там была его жена. «Да, — усмехнулся Монахов, — жена — это не прошлое, жена — это самое что ни на есть настоящее...» В мыслях у него не было прошлого, никакого их опыта, ни одной их ежедневной ссоры не всплыло в памяти — в мыслях у него было, как же это она так долго терпела его, так долго, что была теперь

* Стихотворение Л. Губанова (А. Б.).

у него возможность вернуться к ней, а то ведь и некуда было бы вернуться...

На секунду жена мелькнула перед ним, как бы в коридорчике: он увидел ее поясок. Хотел увидеть лицо — что-то придавило взгляд, и она успела скрыться у себя, прикрыла дверь. Монахов остался разглядывать коврик в их крошечной прихожей, сношенные тапки рядом с ковриком — хоть убей, он не мог вспомнить лица жены. Это казалось важным, а затруднительность — нелепой. Зато легко, во весь экран, во весь мозг всплывало лицо Наташи: «Что же ты, Монахов?..» — именно этот взгляд и поворот. Он пробовал отвести это изображение в сторону, представляя себе Ленечку — опять нет: ускользал этот ухмыляющийся обмылок. Зато вдруг — одним росчерком схваченная поза — щурилась Наташина тетушка... Ну их! Монахов в который раз глянул на часы — так они и впрямь стояли! Вот отчего время не шло!.. Он забыл их завести во всей сумятице, что не мудрено. Они, может, еще вчера стали...

И Монахову стало легче, отпустило. Ему настолько стало легче оттого, что в одну секунду пролетело почти два часа: теперь-то что, теперь уже почти ничего, дождемся... — с такой положительностью заводил он часы, переводил стрелки, будто делал полезное дело. Он ожил — какое бы еще полезное дело сделать? — уступил место цыганке с дитем. Бровью не повела — тут же села, достала титьку. Монахову стало весело: народ... Купил книжку Зябликова о пингвинах. Что еще? Он брел теперь по залам, толкая коленом корзину, снисходительно усмехаясь собственной глупости: местечка больше не было ни одного. И все-таки нельзя было сравнить его нынешнее состояние с миновавшим: никакого сравнения. «Хорошо, что не похмелился,— думал Монахов.— Хорошо, что Наталье не позвонил...» Ведь вот что получается: он возвращается даже раньше, чем его ждут. Его только завтра начнут ждать, а он еще сегодня, даст бог... Выйдет, что он торопился, рвался... Монахов ничуть не был смущен некоторой несимпатичностью подобных расчетов: его устраивало, он устраивался... Он устраивался заранее на прежнем своем месте, и оно теперь нравилось ему и удовлетворяло — он словно чуть эрзал, для окончательного удобства. Рутинка и обыденность его каждого дня настолько устраивали его как перспектива, насколько не устраивали как жизнь. Не было для него теперь большего счастья, чем угнездиться в собственной нише. А вот лиши его этого? — думал Монахов... этого типового, малогабаритного... И — где он? Что у него останется? Что у него есть-то! Ну, звание... Вроде с ним не пропадешь. А без звания он что? Ну дело-то он знает! А кто это будет знать, если без звания?.. Так ему стало странно: добивался, колотился, жизнь прошла в одних успехах: школу кончил, институт кончил, аспирантуру кончил, диссертацию и ту защитил,— и что? Какими-то невидимыми линиями себя обвел: семья, работа... А без них он кто? Есть такой Монахов или одна прописка да должность? «Чего только не придет поутру в голову! — усмехнулся Монахов.— Может, все-таки стоило похмелиться?..» Он окинул взглядом зал — самолеты все не летели. «А эти?.. — спохватился он, в ужасном озарении окидывая зал.— Сколько их?..» Людей, собранных под эту бесконечную крышу (Монахов глянул в бетонное небо аэропорта и определил тип перекрытий...), было много. Всех их всосала эта аэропауза, и Монахов не был главнее их. На каждого приходилось столько же жизни, сколько и для него одного. Каждый был повязан теми

же невидимыми и неразрывными нитями принадлежности к ней, и никто из них, даже кляня свою судьбу, не махнулся бы ни на чью другую. Монахов потерялся в этом обобщении — оно напоминало все тот же набитый людьми бесконечный зал, который и без того был перед его глазами.

Однако время шло и прошло. Одному аэропорту известна воля Божья. Он начал наконец вычитать чье-то время из общей паузы, и счастливая судьба одиночек окрылила надеждой всех. И каково было Монахову, прикинувшему общее опоздание и уже твердо рассчитывавшему вылететь никак не позже, чем... вдруг осознать, что это ведь его рейс выкликают первым, его! И, спотыкаясь о все ту же корзину, точно так же, как и вся эта бестолочь, не поняв, где регистрация и точно ли тот рейс, удивлялся он этому решению Аэрофлота отправить его, Монахова, вовремя, вместо того чтобы пропустить вперед задержанные рейсы. Но мы не анализируем подолгу причин везения, принимая их на веру или как должное. Монахов успокоился, обретя себя в самом хвосте регистрации. Здесь он обрел себя, в последний раз убедившись, что и билет цел, обрел и стал отделять от толпы, столь суетливой и бессмысленной — он их как бы не понимал: куда лезут, зачем давка?.. Одна фигура остановила его внимание — вся в черном: очевидно, вдова. Ногу видел Монахов, худую, в толстом чулке и грубой туфле, чулок перекрутился винтом... затем потную шею, натруженную, как руку... возбуждение — красными пятнами по горю: глаза из-под платка горели страстью очереди. Вдова оториентировалась еще позднее Монахова — теперь громоздила на него свои фанерные чемоданы. Две старухи-родственницы подзуживали ее гортанным квохтаньем. Что-то знакомое померещилось Монахову в ее диком лице. Будто он ее уже где-то видел... Не мог он никого здесь знать — это уж точно. Монахов пропустил ее вперед. «Сколько ей может быть лет? — думал он. — И шестьдесят, и тридцать...» Снова он был один, такой умный, который понимает все прежде, чем ему скажут: не толкался, знал свое место — грамотный, опытный пассажир. Один он здесь был такой и, когда поймал призывный взгляд еще одного такого же, выделившего Монахова из всей толпы как своего, взгляд, приглашавший поделиться скептической улыбкой посвященности, то надо отдать Монахову должное, не стал ответно подмигивать, а смутился, застиг себя: нелюбезно увел взор — отделил себя и от этого товарища.

И дальше у Монахова шло все более по маслу: корзину позволили не сдавать в багаж, место досталось у окошка и не над крылом, и самолет, что самое невероятное, не только вылетал по расписанию, но и тех обычных получаса опоздания, что повергали его всю жизнь в недоумение, что же считать временем отправки: посадку в самолет, запуск двигателей или отрыв от земли, — даже этого получаса не предвиделось. «Неужели? Быть не может...» — ликовал Монахов — самолет уже отволокли в сторонку, и он гонял винты. «Выходит, именно взлет... — решил Монахов (оставалось еще пятнадцать минут). — Мы именно оторвемся от земли минута в минуту по расписанию...» Значит, дома ему уже теперь точно быть... Совсем рано еще попадет он домой. Его не ждут... Вот она удивится!..

Монахов отвернулся в иллюминатор, расплывчатая улыбка блуждала по его лицу. Видел он впереди огни ресторана и выдачи багажа — они зажглись, стремительно смеркалось. «А когда объявили посадку, было еще совсем светло...» Сбоку,

то быстрее, то медленнее, словно то в ту, то в другую сторону, вращался винт. Все это были гарантии, и душа Монахова исполнялась таким спокойствием, какого давно не знала. Нет, не то его стерегло, чего он не предполагал и что так легко предположить: неожиданное возвращение мужа из командировки... Еще и до этого счастливого момента подстерегало его нечто, чего никто — ни вы, ни я — предположить не мог бы... Случай.

Самолет уже весь дрожал от предстартового возбуждения, винты от быстрого вращения растворились в воздухе, когда навстречу самолету выбежал Случай в образе Ленечки. Сразу оговоримся: это был не Ленечка. Но парень был молод, и широкое его лицо освещалось столь простодушной и открытой улыбкой, что на секунду Монахову и впрямь показалось, что не кто иной, как Ленечка... Парень был хорошо освещен какими-то косо бьющими, не видно откуда, прожекторами, но наступила все-таки ночь, Монахов мог и ошибиться. Он мог предположить, а Наталья могла и послать, а Ленечка мог согласиться на любое ее поручение... Скажем, он бежит сейчас, волнуясь лишь о том, что не выполнит Натальин приказ... Парень бежал, как видно, из ресторана, размахивал на бегу чемоданчиком, будто такси останавливал. Не похож был на сильно выпившего — просто нелепый такой малый, как Ленечка... Монахов ему с симпатией посочувствовал: кто же мог ожидать, что их посадка пройдет так скоро: он сам чуть в город не уехал... Но парень тоже дурачок: кто ж его посадит: и трап уже где, и люки задраены... Бежит себе, машет, кричит на бегу — не слышно; что же тут услышишь, за моторами?.. И летчики небось не слышат, смеются, качают головами... Самое привлекательное было в этом парне, что он еще и улыбался на бегу, будто радовался, что все-таки успел и не сомневался, что его впустят. И вот он добежал до самолета, как раз с монаховской стороны, подняв обе руки, будто финишную ленточку рвал, размахивая над головой чемоданчиком — с раскинутыми руками он и взмыл, как птица. Ноги его взлетели вверх — все это было так хорошо видно Монахову, словно его специально посмотреть посадили,— и упал навзничь на землю, прямо под самолетным крылом. Монахов еще ничего не понял, только подхватил общее «ох»: не один он смотрел. Парень лежал под крылом, там было темно. Кто-то со сладострастным любопытством навалился на Монахова, дыша ему в лицо сыром и урюком,— Монахов не отстранился, неотрывно смотрел под крыло, неслышно для себя шептал: «Ленечка...» И тут яркий сноп выхватил из ночи тело парня — это был, конечно, не Ленечка. Подъехал «газик» и осветил «не-Ленечку» фарами. Он мог быть солдат, отпускник или даже («совсем обидно»,— сказал бы кто-нибудь) демобилизованный: гимнастерка на нем была без погон. В руке он все еще сжимал чемоданчик, разрубленный пополам: оттуда, как изнутри, выползло скомканное белье. Монахов видел его всего, но воспринимал не все: пока — чемоданчик. Тут, в последний раз дрогнув, остановился винт, черный против света, нижней лопастью указуя в сторону парня, и все стало ясно, и Монахов увидел все: лоб парня был наискось рассечен этим самым винтом, под головой медленно — так медленно! — ширилась и стыла, ширилась и стыла черная и густая, как ночь, лужа. Он был еще жив, и смерть его не вызывала сомнений. Рот его все еще был растянут в улыбке, и губы чуть подрагивали; глаза были прикрыты. Будто он спал и улыбался во сне, и сон

его был приятен. Улыбка таяла, но так и не исчезла до конца: она была той же формы, но означала другое. Высокое спокойствие, и будто мысль, сначала удивившая, непривычная, а потом наконец понятая тем самым умом, в котором родилась... эта мысль поразила Монахова. Она прорастала, как бледность, по мере которой ширилась, как черный нимб, лужа — и это было уже чело... Смерть подступала волнами, волнами отливала жизнь. Эта непостепенность поражала оглушенное сознание Монахова. Так же, как и эта остывшая страшная лужа под головой казалась не меняющейся, и вдруг было видно, как она еще разрослась, — так и эта бледность, которая была уже последней, до капли, вдруг и еще белела. «Умер», — говорил себе наконец Монахов и утверждался в этом — и вдруг снова (было бы невозможно и заметить, если бы не смотреть так неотрывно, как Монахов...), еще раз трогались в этой невозмутительной улыбке губы — он был еще жив. Монахов ждал агонии, о которой слышал и читал, ее не было. А вот высокая мысль, все больше высвечивавшая это великое чело, была. Монахов не был поэт, и поэтому можно ручаться за истинность его наблюдения: впервые на его глазах умирал человек. И каждый раз, когда он говорил себе: «Мертв», — это все еще оказывался не конечный смысл той великой мысли, осветившей и успокоившей лицо солдата; но выше уже не поднимался Монахов: там его не было, он был жив. Около парня потоптались одни сапоги, потом другие. Один раз посмотрел Монахов выше: плотный мужик в летной фуражке, вылезший еще из одной машины, имел очень правильное выражение лица: тупое и злое на жизнь. Лицо его ничего не выражало, кроме этой возвышенной досады, — в этом была дань. Спихватившись, что его видят из самолета, мужик отошел в ночь.

Когда наконец подъехала «скорая», парень был мертв. Врач не щупал его пульс.

Развязный санитар выволок носилки. Догадались потушить фары. Какая наступила ночь! И это было все. Отлетела...

Стал виден салон, и гам достиг ушей Монахова: «Еще бы, воздушная струя...», «Смотреть надо», «Молодой какой...» И — что там еще?.. — самолет прямо кишел живыми людьми. Как горох в чудовищном стручке. Все были пьяны от этой смерти. Рассуждали, погнулся ли винт — вряд ли. Тогда полетим? Станным было так вдруг и полететь, но, с другой, почему бы и нет... Монахова душило рыдание. Нелепая смерть... Нелеп был случай, но — не смерть.

Прошло какое-то достаточно долгое время — из кабины, с чемоданчиками, очень напоминавшими тот, солдатский, вышел экипаж. На них неприлично смотрели — они не смотрели ни на кого. Они были ни в чем не виноваты. Смущенные, красные, будто их застигли за чем-то неприличным, торопливо прошли они по проходу. Правильно, экипаж травмирован, рассуждали пассажиры, смена экипажа... Прошло еще какое-то время, в самолете становилось невыносимо душно. Смерти уже не было, рос ропот: мало ли чего не бывает, лететь пора. И тут, ко всеобщему возмущению, всех высадили.

Монахов, со вздохом облегчения, отбился от толпы. Фонари в листе, урна для мусора, пыльный запах какого-то первого стручка, застоявшиеся лужицы тепла, тень листы на асфальте, плевки, окурки — все это отчасти умиротворило его. Но — как же жить дальше? После того, как на его глазах отлетела душа, не мог Монахов. Монахов не мог, и тут он совершает законченный ряд последовательно неточных поступков,

знаменующих собою Жизнь. Быстрыми шагами убегая от себя, он идет напрямик в ресторан, где за минуту до этого перестали подавать водку. Да, в соответствии с постановлением горисполкома, после семи... «Без семи семь!»— кипит Монахов. Без пяти поправляют его, а без четверти... Монахов живописует, что только что погиб человек. Его начинают слушать. Входят в подробности, сопереживают. Узнав, что погибший не доводится Монахову, официантка теряет к этой смерти всякий интерес, но водки приносит. Монахов выпивает ее с великим отвращением и трудом. Она тепла, как Ташкент. В будке пахнет мочой — Монахов звонит Наталье. Торжественно лепечет про смерть.

— Что с тобой, Монахов?— испугалась Наталья.— Что ты подумал?! Ты не улетел, Монахов, милый?.. Приезжай. Никого нет. Я у тетушки спала, дурак!— Наталья заплакала басом.— Как ты смеешь... Зябликов сам ушел. Ленечку разогнала. Навсегда, до завтра, скоро явится. Приезжай, Монахов...

— Человек умер,— сказал Монахов.

— Какой человек? Что ты говоришь?! Хочешь, я приеду?.. Монахов молчит. Что он может сказать?

— Я приеду. Ты где?

— Нет,— сказал Монахов сурово.

Вышел на тот же воздух. Слаб Монахов, слаб, но и не так слаб — никакого стыда не испытывает теперь он, и это ему как-то странно. Жизнь пребывает в нем в формуле Монахова — в нем одном, не в них. Водка проскочила, будто ее и не было; вторую водку за ту же смерть не купишь. Что он, собственно, здесь ошивается — одумался Монахов. На вокзал! Да вот так вот, рельсиками по колесикам, как бывало...

Фонарь в листе, урна, окурки, пыльный, теплый, бензиновоцветочный угар — можно и не оборачиваться: все это было — самолет. Новенький, блестящий, каких-то иноземных линий — Монахов еще такого вблизи не видел. Ба, знакомые все лица!.. У турникета перед выходом на летное поле стояли примелькавшиеся пассажиры с его рейса нерасстающейся кучей. Тот черненький, интеллигентненький, что примечал его при регистрации как своего, прямо направился теперь к Монахову как к своему. «Сейчас объявят посадку. Нам предоставили Ту-154, сняли с рейса на Дели. Он летит на час скорее. Мы будем в Москве почти в то же время, как если бы летели на том... Представляете?»— возбужденно поведал он. «Да»,— сказал Монахов без вызова и отошел в сторонку. Чем он так горд?..

Не прошло и пяти минут, как все так и оказалось. Коллектив их рейса, отнюдь не обескураженный, а сплоченный общей смертью, бросился на штурм небывалого самолета. К самолету было подано два трапа, и посадка велась в две очереди одновременно. С такой практикой Монахов тоже еще не сталкивался (в кино что-то такое видел...). Казалось бы, вдвое быстрее — куда там! Стюардессы были сметены с трапов, кишачая толпа гроздьями свисала с перил. Плач и стоны. Монахов такого тоже еще никогда не видывал. Он многого сегодня не видывал. «Надо же!— в сторонке недоумевал он,— ведь нам всем только что продемонстрировали, что это такое, с максимальной наглядностью: мясорубка, смерть... Ни один не сдал билет, ни один не бросился на поезд! Продемонстрировали ее действие — и все бросились в нее с тем большей страстью... Нет, люди не обучаются. Люди — не машины, а животные». Такой давки не помнил Монахов с младенчества, с военных пор. «Все же улетят! Куда же вы?...»— утонул последний писк стюардессы. Ку-

да же мы... Монахов увидел поверх голов верхом на чемодане вдову и вдруг вспомнил, где ее видел. Это была вдова сменного мастера Нуриманова, погибшего при аварии, которую он, Монахов, так ловко раскрыл. Ему ее тогда мельком показали, в дирекции... хлопотала пенсию по потере кормильца — побыстрее, чтобы не терять платных дней после смерти... Тогда Монахов ее не заметил — сейчас разглядывал ее тогда: точно так погиб ее Нуриманов, как сейчас вот этот солдат... Так разве я понимал, что случилось, что произошло, кроме неправильно взятых коэффициентов? Эксперт... Нет, смертью народ не удивишь, лайнером — тоже. Столько войн, смертей, пересылок!.. Еще совсем недавно, уже при нем, Монахове. Это вчера и сегодня — случайная смерть, позавчерашняя — уже не случайна. Монахов иначе смотрел теперь на штурм самолета: чем лайнер — не теплушка?

Высокая мысль! Так что же ты, Монахов?.. Ему не надо было и оборачиваться, чтобы ощутить Натальино присутствие за турникетом. Она рвалась на поле, и пока, в ночи, Монахов еще мог ее как бы не видеть. Он ринулся в самую гущу толпы. И вышел победителем в борьбе за трап. Перед тем, как нырнуть окончательно в самолетное чрево, мог он увидеть через плечо прорвавшуюся через все преграды Наталью, бегущую по полю. Она его не видела.

...Монахов летел, пристегнувшись и не куря. По радио шли объявления по-английски и хинди — узбеки крутили головами и смеялись. Стюардессы, выше ростом и сортом, были с каким-то избытком вежливы. В этом было что-то оскорбительное — казалось, они ленились примениться к обстоятельствам. «Наш самолет совершает рейс Москва — Дели», — сказала радио по-английски, прежде чем хоть его-то догадались выключить.

«Ловко, однако, ловко... — думал, задремывая, Монахов. — Мы будем в Москве практически в то же время... — он искал глазами того, черненького, и не нашел. — Надо отдать должное Аэрофлоту: весь инцидент разрешен с оптимальной быстротой и тактичностью. Не мог же и впрямь лететь тот же экипаж. Как-никак убийство... Как ловко из всего вычтена именно смерть... В то же время!! Какое торжество. Для этого требуется лишь следующая модель. Прогресс вычитает смерть... Если вам все время подсовывать то икру, то новый самолет, не мудрено не только смерть, но и жизнь — не заметить. Нас привилегировали... Чем не глагол? А смерти — не было. Что-нибудь было. А смерти — не было».

И Монахов подумал о том, что никогда, пожалуй, до сего дня не думал о смерти... Живем, живем, а она так близко, неслышно ходит за плечами... и взмахивает, и взмахивает... Идешь — шорох. Будто что-то. Обернешься — никого. Ничего

Монахов думал о смерти, что никогда не думал о ней...

Он спал.

Во сне он никак не мог собрать вещи — привычная история... Он опаздывал, уже опоздал. И вещей-то всего было три: в одном зале он забыл пиджак, в другом — галстук... Он метался по залам, галереям, лесенкам, захлапленным декорациями и реквизитом — съёмочные павильоны сна, — и всюду умудрялся встретить знакомого, вступить в отношения, связать себя обязательством... А пиджак был — вот он, только руку протянуть...

Объятие их тут же распалось. Жена быстро одеревенела в его руках и отстранилась.

— Ты что?— как бы не понял Монахов. На самом деле он прекрасно все знал, все шло как по нотам: ему вручили партитуру. Каждый начал свою партию.

А Монахов-то опять готовился на другую роль... Но в той же пьесе он вешал тот же плащ на тот же гвоздик. Мелькнул женин поясок — она скрылась. Монахов рассматривал коврик и стоптанную тапку. Это он уже видел. Причем буквально — вчера.

Монахов вздохнул, прихватил корзину и направился за женой в кухню.

— Фрукты,— сказал он.— Их надо сразу распаковать.

— С кем ты их покупал?— спикировала жена.

— Как с кем?..— обиделся Монахов.

Это радостное, сближающее занятие на двоих — распаковка, раскладывание — пришлося Монахову теперь проделывать одному: жена подчеркнуто чуралась корзины. Это был нелепый повод для ревности — слишком веский. Монахов именно поэтому не взорвался в ответ: несправедливость была здесь так очевидна, что пусть сама молча разглядывает ее. Он доставал по одному каждый фрукт — разглядывал, повертывая. Ему требовалась все новая тарелка и миска; жена, не глядя, подавала ему, раздражалась на каждое его такое медленное и неумелое движение. Ссора набухла в кухоньке, заполняя немногие пустые закутки на шести квадратных метрах, — нависала. Монахов оглядывал каждый плод — любовался. Это были прикосновения, равные маминим, — обратная связь. «С кем... — неслышно бубнил он под нос.— Ишь ты, с кем!..» Однако вдруг увидел Наталью, метущую красной юбкой вдоль базарного ряда. «Ясно с кем... Мало ли с кем?..» Вопрос жены не исключал эту возможность: с кем — это не эти именно фрукты, а может, и другие, но в одно и то же время... Монахов усмехнулся и покачал головой: логика... Жена его была очень логичной женщиной, перед ее неумолимыми последовательностями он пасовал. Он никогда не выдерживал спора — начинал кричать, топтать ногами, махать самому себе кулаком — оказывался не прав. «Что кричишь? Что я тебе такого сказала?» И он не мог внятно восстановить, что, — оказывалось: ничего. С чего его разнесло?.. «А вот с чего, — монаховская мысль кипела вслед за еще не разыгравшейся ссорой.— Есть жизнь, и есть мысль о жизни, абстракция. Так жизнь, после мысли о ней, не обязана укладываться в идеальную схему...» Жена, казалось ему, страдала именно от этого несоответствия обратной связи, а не от жизни. Требовала от него, чтобы он был строен духом, как ее мысль. «А сама-то, сама!..» — тут же вскипал Монахов; ровненькие, упитанные обиды выстраивались готовной очередью. И все-таки эта ее особенность была уникальной: сами-то мысли ее по отношению к жизни восхищали Монахова соответствием, зато возмущала попытка обратно их приложить к завтрашнему дню и к нему, Монахову. Например, могла она сейчас сказать: «А что ты хочешь? Разлука и есть ссора». Мысль такую еще надо суметь подумать. «Но не в фильме же Антониони мы снимаемся, а — живем!» — взревел про себя в ответ Монахов. Или: «Как же для меня может существовать кто-нибудь, кого я не знаю? Я не знаю твою мать, откуда мне взять отношение к ней? Сюсюкать потому, что она именно твоя, — тебе ведь не этого надо. Кого нет, того нет. Незнакомых — просто нет в при-

роде». Монахов не мог бы не согласиться с ней, рассуждай они о книге, а не о нем. Могла она сказать и так: «Тебя не было, откуда я знаю, что ты по-прежнему есть? Ты был — и тебя не стало...» И дальше: «А с чего ты взял, что это я, к кому ты вернулся? Может, это уже и не я. Ты же меня не выключил, уезжая...» — «Но я же в командировку поехал!.. Не гулять, не веселиться. В ко-ман-дировку!» — защищался мысленный Монахов. «Откуда я знаю, зачем ты поехал! Может, ты к ней поехал...» — съезжала на два порядка вниз жена и становилась понятней и милей Монахову: все эти абстракции — обыкновенная, живая ревность, которой не чужд и самый высокий ум. Это был подходящий момент попробовать снова ее обнять, привлечь к себе. Она же неумолимо топорщилась — тут Монахов совсем вскипал. И — начиналось!

Пока же все шло мирно. Монахов раскладывал фрукты — были они один к одному, до самого дна. Никакой той кашицы, что, выходит, зря пугала его. Кухонька была залита светом, лившимся с тарелок, уставивших теперь все: и холодильник, и подоконник. «Солнце и мать — вот два источника...» — сентиментально подумал Монахов. Вслух бы он этого никогда не произнес: ох как бы издалека разнесла бы его за такое высказывание жена! И никогда бы не доказал ей, что именно за это... Монахов вздохнул, печально любуясь своей работой. Да, никогда он раньше не встречал такой требовательности к действительности, чтобы все соответствовало уровню на сегодня выношенных представлений... Еще бы — встречал... Встречал бы — не женился... Именно на этом он женился — вот в чем дело. Женился, утомленный и измученный всем тем, что не было еще его женою... Как он настрадался от них в предыдущей своей жизни! Сейчас получалось, что страдал он в прошлом едва ли больше, чем сейчас. Невыносимым-то теперь было именно то, что и привлекло его к ней, а привлекательным стало то, чего он не выносил когда-то. Как странно мы любим!.. Жена вдруг приникла к нему, когда он не ждал, и он растаял. Жена укусила фрукт и зажмурилась от удовольствия. Жена любовалась фруктом. «Какое все это солнце!» — сказала она. Зря он боялся... Именно так и сказала. «Какая она хорошенькая!» — вдруг понял Монахов. — Девочка. Она просто девочка». — «Ты просто любишь ее...» — услышал он голос Натальи.

И жена услышала?.. Это уже бред. Вдруг надулась, повернулась, ушла в свою комнату, оставив недогрызенный плод. «Это что же делается! — вконец обиделся Монахов. — Что за мука такая!.. За все перенесенные тяготы и несчастья — и вот на тебе!» Это была только фраза: ничего из перенесенного не вспомнил он отчетливо, по отдельности: ни, ни, ни... Все его невспоминаемое пребывание в Ташкенте воспринималось им теперь как одна общая его заслуга, одно общее страдание, которое он вынес исключительно ради вот этого возвращения. Избежал всех соблазнов и рифов, разбежался — и вот на тебе! Он погрузился в скорбь. За окном была черная ночь. Окно слепо смотрело в кухню, отражая в себе некрасивые плоды...

— А это что такое?! — дрожащим от муки голосом сказала жена.

Он понял, что она что-то «нашла». Уже порылась в его портфеле. Хотя «найти» там она ничего не могла: Монахов был особенно внимателен на этот счет. Однако — нашла.

Она стояла за его спиной с белым лицом, протягивая ему

Ленечкины стихи. В другой руке, как второстепенную улику, держала она книжку Зябликова...

— Что это за графомания?..

Монахов растерялся — виду не показал, насупился.

— А мне нравятся эти стихи,— сказал он, первым делом обидевшись за Ленечку.

— Сам понимаешь, что не это имеет значение,— сказала жена.— Чьи они?

Монахов взглянул на жену с осторожным изумлением и потупил взгляд. Что-то было головокружительное в этой ликвидации логики, границы здравого смысла не существовало; да и не было такого — здравого смысла, был — смысл.

— Да это... один мальчик написал...— мирно пояснил Монахов.— Сын соседки...— добавил он, удивляясь сам, до чего же неубедительно.

— Соседки?..— Жена так готовно сошла со следа, что этим еще раз изумила Монахова.

— Ложка, вилка, тарелка!.. Я постараюсь избегать теперь слов женского рода,— ядовито сказал он.

— Было бы неплохо,— невозмутимо сказала жена.

— Мои! Мои эти стихи!— взвился Монахов.— Я написал! Одной девице в Ташкенте посвятил!..

— Ври больше,— сказала жена удовлетворенно.— Они тебе надписаны. И почерк не твой.

Нет, Монахов отказывался понимать... «А ведь я почти правду сказал...»— усмехнулся он. Он хотел сказать: «Что мы делаем?!»— и не сказал, хотел позвать ее по имени — и не позвал. Они избегали называть друг друга по именам. Они оба считали это фальшью. Они радовались, что у них так много общего, когда сошлись на этом. «Когда зовут по имени — значит, врут»,— говорила жена.

«А как же в лесу?»— подумал теперь Монахов.

— Ау,— сказал он миролюбиво и вздрогнул: над домом пролетел самолет.

(Их дом стоял на краю Москвы, вблизи аэродрома, и над ним шли на посадку самолеты. Они привыкли к этому шуму и не замечали его.)

— Да,— сказал Монахов, проводив взглядом шум.— Забавно. Я сейчас вспомнил. Отец рассказывал. Он все время что-то вычитывает и рассказывает. Всякую научно-популярную чушь. А одну штуку поразительную рассказал... Представляешь, лес...

Жена спокойно смотрела в черное окно, в котором ничего видно не было, и — ничего... пока что не собиралась его обрывать.

— Лес, оказывается,— с надеждой продолжил Монахов,— не просто много деревьев, а что-то вроде сообщества, даже коллектива. Деревья растут не поодиночке, а как бы всем лесом. Мы этого не видим, поэтому не предполагали, а все деревья связаны между собою корнями в единую систему. И не каждое дерево, а лес в целом существует как единый организм...— Монахов разволновался, потому что сам вдруг понял мысль, которую излагал; она оборачивалась, и той ее стороны Монахов до сих пор не видел и не предполагал.— Вот и выходит...— Монахов сбился и слов для этого нового смысла не находил.— Странно, что этого до сих пор не знали... Водородная бомба, кибернетика, что угодно — а такую очевидную вещь позже открыли!.. Ведь ясно же, что одно целое!— Голос его дрогнул.— И как открыли? Считалось загадкой, почему мертвое дерево —

сухое. Сразу сухое, а не то, чтобы высохло от времени... И оказалось, что, умирая, оно отдает все свои соки лесу. Лес этими общими своими корнями его высасывает. Вот оно и стоит сухое...

— Какой ужас! — сказала жена.

Он не заметил иронии. А может, ее и не было.

— Вот и выходит, — сказал Монахов, — что жизнь одного дерева нужна всему лесу... — Он иссяк и расстроился. Какая-то еще, как огромный зверь, мысль шарахнулась за окном в ночи. Он ее не поймал.

Жена погладила его по голове еле слышным движением и тут же убрала руку.

— Уже поздно, — сказала она. — Ты устал.

Монахов обрадовался, попробовал ее обнять, и она снова вывернулась из его пустых рук.

...Монахов лежал и обижался на жизнь. Жизнь в данном случае лежала рядом в новой, к его приезду, рубашке. Было постелено чистое белье. Они были муж и жена. Была ночь. Они были одни. Оба не спали. Оба лежали на спине, старательно избегая прикосновения. Между ними пролегалла ничтожная белая граница. Они, по-видимому, любили друг друга: граница эта была непреодолима. Оба желали одного и того же, но не было силы на земле, способной преодолеть эту невидимую преграду невысказанного. И не было слов, способных по кирпичику разобрать эту стену — рассказать ее.

Он знал, что она ждет от него признания, и почти со злорадством осознал, что никогда (ни-ко-гда) не освободит он ее от этого ожидания. Она, видите ли, хотела бы знать всю правду... Кто не хочет! Только ее нет. Вся правда — это вообще все: и эта ночь, и этот стул, и тень от градусника на подоконнике, и луна, которая зашла за тучу... Что, ее нет, луны, если она за тучу зашла?.. Чтобы ей рассказать все, надо начинать так: «Вначале было слово, и слово было...» Монахов усмехнулся и, в темноте, невидимый, как-то отдельно ощутил свое лицо как чужое. Мог он ей рассказать про Ленечку? Не мог, тогда надо и про день рождения. Мог он рассказать про день рождения? Не мог, тогда надо и про Наталью. Мог он рассказать про Наталью? Не мог, тогда надо и про... тогда надо и про то, что она, как раз-то и, минуя в с ю правду, хотела бы узнать. А расскажи он, что ничего не было, что он спал только с Ленечкой (Монахов искренне помнил в этот момент только это), не поверит. Сказки... В том-то и дело, что н и ч е г о он ей не может рассказать. Не в чем ему оправдываться! Но что бы ни начал он сейчас плести рядом — выйдет, оправдывается. Ну, как он ей объяснит, что ей нечего и не к кому ревновать? Разве она оценит его рвение и жертвы? (Опять он имел в виду, что устоял перед Натальей...) Монахов ощущал, что жизнь (жена) несправедлива к нему. Ему было обидно.

Разлука — жизнь, прожитая врозь... Именно, что прожил он ж и з н ь за эту неделю, и это было — е г о жизнь, не ее. Было, было к чему ревновать! Не к Наталье... У него был опыт, которого у нее не было, их жизнь расходилась теперь на этот опыт и в каком-то смысле никогда уже не могла сойтись, потому что не было у Монахова пути поделиться этим опытом с нею...

Да полно, хотела ли бы она знать?.. Может, меньше всего и хотела. Может, это ей страшнее смерти — узнать то, что она хочет узнать. Может, она именно не хочет узнать, а давит, как

на больной зуб... Ни один следователь бы так не вышел на след, как она на Ленечкины стихи, и что же? Удовольствовалась первым же, самым невразумительным объяснением. Именно невразумительным — и удовольствовалась: вразумительное бы — еще попытала. Зябликова вообще не предъявила... Смесь ненависти и восхищения чувствовал Монахов, когда понимал, как близко и сразу приблизилась жена к его действительности, только с другой стороны; словно они трогали стекло с двух сторон и касались пальцами пальцев, но через стекло... Какая стремительная ошупь! С помощью каких локаторов проложила она такой прямой путь в полной темноте?! Любовь? Какая, к черту, любовь — такое стремление к разрушению?.. Не может Монахов, нет, не может жить в таком пристальном свете. Жизнь не построена так, чтобы знать о другом больше, чем о себе.

Монахов пробовал просунуть руку сквозь эту преграду — и не мог: боялся наткнуться, боялся остаться с протянутой рукой, боялся приласкать пустоту.

Так он недоумевал и думал, разглядывая под потолком резную тень от сухого букета. Выходит, в чем-то признаться было надо. Монахов думал о мере признания, о его проценте, какой бы и он и она могли снести, но тогда не получалось признания. Что-то должно было заместить его, но что? Ничего, равного всей правде, но другого — не было. Снова Монахов вспомнил об отце, что тот слаб и плох — увидел спящее его лицо с внезапной болотной щетиной... разглядел лучше, чем тогда, может, отец его даже хуже, чем плох, может... Вот! Вот, что можно сейчас ей сказать, равное тому, что она ждет. От этого она не может отмахнуться... Нельзя сказать, что Монахов рассуждал до такой степени цинично, но все-таки достаточно сознательно.

— Знаешь,— сказал он прочувствованно,— старик-то мой совсем плох...

Тень от букета задрожала и содрогнулась, будто от вздоха жены. И тут эту легкую дрожь тени мертвого цветка настиг гул: совсем близко пролетел новый самолет. «Пять баллов...» — подумал Монахов и на секунду всем существом оказался в Ташкенте. Необъяснимый, детский ужас охватил его. Он прижался к жене.

— Что с тобой? Успокойся... — взволнованно говорила жена и нежно гладила его, как ребенка. — Что с тобой, мой маленький? — не спрашивала она.

— Как же мы не понимаем,— дрожащим детским голосом, срываясь, говорил Монахов,— что другие понимают и чувствуют то же, что и мы! Будто мы одни такие... С чего я решил, что я лучше понимаю, что мне говорят, чем те, кто мне говорит то, что я так хорошо уж понимаю. Ведь мне отец про лес говорил — значит, именно то чувствовал и понимал, раз говорил. Это я не понимал, что он мне говорит, а не он. Я только сегодня-то и понял. А тогда слушал его пренебрежительно, вполуха, и был уверен, что — он говорит — это же бред! Боже... — Монахов ощутил озноб. — Ведь я никогда не смогу сказать ему, как я его хорошо наконец понял. Никогда!

Слезы сладко наполняли глаза Монахова. Он лежал на спине, и глаза его стали, как два озера. Он смотрел сквозь две эти толстые слезы, как со дна, и ничего не видел. Моргнул, и озера пролились.

— Не надо, миленький... не надо! — приговаривала жена, целуя его в мокрый висок.

— Как я не понял!— убивался Монахов.— Я же не увижу его больше. Он же...— Монахов не мог произнести вслух.

«Не умирай! Только не умирай! Все, что угодно, но не это!— молился он про себя. И вспомнил, как отец говорил, что всю жизнь не может себе простить смерть своего отца. Монахов-дед был болен и звал сына, а тот был влюблен и был у нее, когда отец умер...— А вдруг?...— похолодев, подумал Монахов.— Пока он был у Натальи?.. Ведь старики-то думали, что он уехал... Вдруг сейчас звонок в дверь: телеграмма!..»

И если лес — одно, то отец и он — просто одно дерево. Ток жизни в последний раз потек от отца к нему, едва ли не с тою же силой, с какой он тек, когда зачинался вот этот миг. Монахов ощутил стремительное расширение своего бытия — открылось — он как бы повис в воздухе над кроватью. Этот живой ток последних сил немощного отца — обмыл обызвествленную душу Монахова-сына, и, снова прозрачная, впустила она в себя всю окружающую ее боль. Словно взлетел Монахов в погоне за душою отца, и ледяной чистый ветер свистел в очищенном каркасе его души: меж ребрами были видны звезды. Одинок там стало Монахову-младшему и высоко. Впервые не порознь выступили дни и переживания его, а все вместе, как и были они — все вместе, всегда: и вчера, и завтра — как сейчас, в едином пространстве, в одной душе, помещающей в себя все души, как и одно дерево вмещает в себя весь лес, поместивший в себя это дерево. И мать, и отец, и Наталья, и Ленечка, и та жена, и тот ребенок, который уже есть, и эта жена, и тот ребенок, который еще будет...

Все они были в нем, и никого не было рядом, кроме жены его. Он вдруг проникся к ней таким сильным, отчаянным и одиноким чувством, которое нельзя бы было назвать и любовью. Это одиночество рвалось из него, как зверь, как вой, и чем плотнее, чем горячее и глубже прижимался он к жене, тем страшнее и неутолимее становилось это одиночество. В окне, совсем низко, будто падая на дом, опять проревел самолет, наполнив стекло дрожанием и гулом,— рассек черный лоб ночи. Смерть, которую Монахов так в упор, так сразу, так хорошо забыл, смерть в образе солдата упала, как звезда за окном, отдав Монахову последнюю каплю жизни, которой ему недоставало,— Монахов вскрикнул, раздался легкий свет, странно осветив ночные предметы из стульев, занавесок и стен... И в тот же миг вечная частица смерти прошла сквозь Монахова, чтобы продолжить жизнь отца его вне сына его.





Не сестра, не дочь, не мать... Больше родственник, чем они, чужой человек. Нагловатое, напрасное смущение: знают друг друга, не хотят знать. Сейчас разбегутся, разъедутся. Лишнее... Что лишнее? Все, что было после,— лишнее. А сейчас лишние эти пять минут до отхода, фальшивый перрон. Перрон всегда фальшивит. Ждет тебя дорога... Жжет. Самые страстные разлуки, самые горькие расставания — все равно ему каждый раз хотелось: скорей бы... Скорей бы тронулся, скорей бы перестать прикипать друг к другу на людях, что можно выжать еще из этой минуты: после ночи, после дня, после чемодана, после стирки носков и трусов и яблока в дорогу, после раздумья о последнем разе, неудобная поза, в передней, что ли... нет, кажется, обошлись, чтобы потом остался этот недоодеженный торт... Интересно, вот в те подлинные минуты это чувство фальши — как?— взаимно?— или только у него, бесчувственного... Ничего себе бесчувственного — локти грыз... Но всегда, всегда хотелось, чтобы все провалилось скорее под колеса, с глаз долой — в самое сердце. А сейчас — не хочется. Все равно, не нужно, нечего сказать, да и сожалений никаких... а не хочется. Все-таки жалко. Мнутся. Смущение. Не то чтобы сдерживается, а лень сказать: предел. Какое-то непонятное пространство ее, для него несуществующей жизни между ними, будто ровное поле с желтыми цветами... Вот-вот, будто она сейчас ему снится, как снятся мертвые, которые давно уже не живут, не в курсе... А подумать, что после них было?.. Так, пустое, двух слов не хватит, десяти — много, отмахнемся, промолчим... Какая-то комфортабельная неловкость. Чуть-еле-еле — кокетство: не слишком, потому что не помолодела же за десять лет, не похорошела, а все-таки — смотри, то же лицо, улыбка отчасти, неоконченность жеста... Неокончателность — какая кошмарная неокончателность вся эта жизнь! Выраженная вот в этой корзинке, которую передать... Бог знает, с какой ерундю! Так ли она уж нужна — мне, ей, тому, кому передать, самой себе она даже не нужна. А уж мы друг другу — ни с какого боку! Вспомнил: сбоку... Еще и потому полкокетства, что — просто так, не нужно, не по делу... Разозлился, удивился вялой складочке ревности, шевельнувшейся, однако, под десятилетней толщей. Ну, уже пора!.. Представил себе ее возвращение будто бы в избушку за желтым полем, и то же, что сейчас, пронесенное назад через поле лицо, такое же половинчатое, уклончивое, никому адресованное, и не ему, и не тому... Сон, смерть. Поце-

луются или не поцелуются? Поцеловались. Чмокнули воздух над плечом. Щека слабенькая, мягонькая, скоро бабушкина... Значит, помнит ту щеку. По сравнению... Уже из вагона: последнее лицо, вдруг что-то в ней пробудилось, дрогнуло, или — показалось? или женщина все-таки, ничего не может просто так? или... да ну! дура! шляпу какую надела!.. стоит кулем... ну, что за баба, прости господи! С трудом не заплакал. И когда отнесло ее наконец, не надо было наклоняться в окно с благосклонно-нежно-равнодушно-соблазнительно-независимо-тепло-человечно-мужской улыбкой... Уф! совсем другой человек выпрямился в проходе, отыскивая кресло: освободившийся, стройно-высокий, неординарный... Странно, ведь уже десять лет свободен — от чего же он освободился сейчас? Не только от неловкости на перроне? Вот именно, что не только...

Монахов продвигался по проходу, полуизвиняясь, никого не задевая... поднял глаза — с того конца вагона, навстречу шла она!.. Монахов даже произвольно покосился в окно, за которым она только что оставалась: там уже не было перрона, разбегались стрелки, рыжий бурьян... Монахов тут же, естественно, усмехнулся своему неоправданному движению — вперился в девушку, идущую по проходу навстречу: никаких сомнений — она! Чуть ли не проделал следующее неоправданное движение, чуть ли не потер глаза и встряхнул головою. Открыл — она.

Она была одета в то же платье, только шляпу сняла... Те же волосы, та же прическа, то же скромное движение как бы под взглядами, вызывающая скромница... Будто десяти лет не прошло... Монахов расправился весь ей навстречу. Ведь она сейчас тоже не может его не увидеть! Поднимет глаза... Время с жужжанием прокрутило в секунду три с половиной тысячи оборотов и замерло, зависнув, и Монахов ровно над той же пропастью: он точно так сейчас видел свою жену, как тогда, уже ему не принадлежащую. Стеснило сердце. Она была ровно на десять лет моложе той, провалившейся только что вместе с перроном. То чувство, что все эти десять лет, хоть и без большого сожаления, без траура, но — зря, сейчас подтвердилось во плоти: этих десяти лет не было, и она — куда она ехала? к кому? почему он ничего не знал об этом?.. — села в поезд, легкая и свободная, не зная о коварном стечении, при котором Монахов очутился в том же вагоне... «Вовсе я тебя не преследую!..» — уже заготовлял реплику Монахов. Одно соображение, еще не проявившееся, смутило сознание, изображение стало рваться, треснуло, подернулось рябью... Монахов с усилием извлек его, упирающееся, из какой-то извилины: та, десять лет назад, не могла быть так одета, — никаких тогда еще макси, каблуки были не такие, прическу такую не носили, десять лет назад пассажиры были одеты иначе... Сходство ведь тем и усугублялось, что старая его жена, померещившаяся на перроне, и молодая, идущая навстречу, были одинаково одеты. И это было единственное условие узнавания — появись она сейчас, одетая как тогда, как ей положено десять лет назад, раз она на них снова моложе, то, может, и не узнал бы, прошел мимо... Изображение окончательно раскололось и рассыпалось. Она подняла глаза и не узнала. Все было так, взгляд — совершенно другого человека. Тускловат.

Монахов уселся, думая о поразительном сходстве. Забыв неприятный взгляд, он снова был поражен. Надо было ее ненароком спросить о чем-то — голос услышать... Голос

такая вещь!.. думал Монахов. За окном все еще был Ленинград, даже Обводный не переехали. Впереди шесть часов преутомительной езды. Может, познакомиться все-таки... А не стоит. Не стоит. Все-таки потрясающее сходство! А главное, какое совпадение!.. Замуж так и не вышла... Монахов думал о своей первой жене, что она единственная. И куда десять лет делись, он тоже думал. Ничего нового не оказывалось в том, что он подумал. Вот об этом он и задумался. Странная мысль! И ее не было. Вот про эти десять лет, что раньше все было непрерывно, а потом провалилось... что только единственное — длится, а остальное только исчезает. Что за все первое отвечает сама природа, за все второе — сам человек. А он не отвечает. А там уже пятое-девятое... Мелькает. Вот попробуй запомни: что там за окном?.. Этот лужок, проселок, перелесок — ведь неповторимы же, а? Ведь можно любить их больше жизни... Они могут родиной быть! Ан нет — сколько себя ни заставляй — пронеслось, исчезло... Любил ли он? любили ли его? Можно ли было не менять жизнь или ее следовало менять еще раньше и еще круче? да и менял ли он ее или она менялась? выбрал ли он хоть что-либо или только его выбирали? и не кажется ли ему, что раньше он жил и чувствовал как-нибудь иначе?

Монахов думал, и ничто не оказывалось мыслью. И не то чтобы он уже подобное слышал или читал, или сам говорил, или уже думал,— нет, никакой сторонней узнаваемости в этих мыслях не было — они были и впрямь его и теперешние, сейчасные... и, однако, стирались, как пейзаж за окном. И приходили в голову словно впервые, а все были уже по д у м а н н ы е какие-то. Значит, тысячу раз проносилась в его голове уже эта толпа, и мысли примелькались, как сослуживцы, каждый день встречаемые, ни разу не отмечаемые... И еще хуже, подуманные кем-то. Что это у тебя сегодня, Сидоров, вроде как ноги нет? что ты говоришь... не знал, не знал... Так и мысль свою вдруг он увидел, что она без головы... Вот же она! опять утекла. И он словно провожал взглядом ее отвратительно примелькавшуюся спину. Вот, когда прервалось (и опять он не сказал себе ни что прервалось, ни когда...)... вот с тех пор и ни разу не была додумана ни одна мысль, а только лишь в о з н и к а л а. Возникла и возникла, и вот он ее уже узнает, ни разу не подуманную. Узнает, как случайного прохожего в толпе, как попутчика в трамвае, но прохожий пройдет и попутчик сойдет... До следующего раза. Вот что значит «ничего нового!»— догадался Монахов. Это вовсе не значит, что оно уже было, а значит, что его уже никогда не будет для тебя. «Все, что было, все, что мило...» То давным-давно уплыло! А вот эта тыщу раз всеми и им слышанная, вдруг мурлыкнувшая в нем стрчка все еще б ы л а. Жила. Да что в ней такого? что в ней выражено-то! — возмутился Монахов. Чувство, ответил он себе. И вздохнул с облегчением.

Об отсутствии, о пустоте... О смерти! Никогда не равна себе эта мысль... И ее уже не было.

Был вкус во рту. Этот ужасно длинный вкус пирожка в вокзальном буфете. Вот он был, он расширялся и рос, отвратительно настойчиво и ровно. Стойко. Ага, стойкий вкус! И это отмечено в «правдивом и свободном»... Вкус помещался во рту, как объем, четко фиксируя полость этого пустого храма. Он все был и был, не в пример мысли или пейзажу за окном, все время улепетывающим. Чего бегут, куда бегут?— и опять то же: и мысль и перелесок. Ну, запомни же вот этот хоть бочажок с

корягой... Не-ет! дудки. Их нет, как и не было до. А вкус есть, сколько его ни сглатывай.

Монахов в сердцах отвернулся от окна посмотреть на пассажирку. На самом деле он так же давно собирался на нее посмотреть, как и встать, пройти в тамбур и покурить, как, быть может, прополоскать там заодно горло... Пассажирка смотрела в окно с особо отрешенным и независимым видом. Шлюха! — вспылил Монахов. Чего у них такой независимый вид, как раз у шлюх? С такой недоступностью на лице только в очереди к венерологу сидят...

В тамбуре, пуская дым в окошко, Монахов на некоторое время обрел пространство: мусорный ящик, огнетушитель, декларация какая-то под стеклом, дверь в туалет, плевков — все на месте. Давно пора было закурить... подчеркнуто выпустил дым — отлегло. Что это все на него находит? Благожелательно приласкал взглядом огнетушитель: на месте, друг, не действуешь?.. И то, что на огнетушителе была картинка, на которой человек, успев переодеться в комбинезон, правильно держал в руках точно такой огнетушитель, на котором, в свою очередь, была картинка, на которой... это, с детства, запавшее представление, тут же тысячу раз проигранное в мозгу, не было почему-то ему противно, наоборот: усмехнулся себе ласково, будто подмигнул прошлому. Как в прошлом, улетала, вернее, отлетала от окна, как взмах крыла, черная линза пашни — рывком назад, потом, будто отлетев вбок и описав дугу, возвращалась на место, прежде чем плавно исчезнуть навсегда. Это крылатое пульсирование пейзажа за окном с вспархивающими, в свою очередь, с борозд грачами, имитирующими поворот пейзажа, взлетающими, чтобы вновь и вновь сесть на то же место, будто, пока они взлетали, земля успевала проехать под ними... Ага! Запомнил!.. — возликовал Монахов. Крыло опало. Справедливо, подумал Монахов и не расстроился: нельзя ловить кайф над кайфом.

Дети теперь не машут вслед проходящим поездам... Когда это случилось? Сколько же времени должно было уйти, в том числе его собственного, чтобы стайки их становились все реже, чтобы не все в стайке махали, чтобы стало неловко помахать, раз другие не машут...

Грачей больше не было, зато открывшийся за пашней синенький, как дымок, лес — показывал вечный и радостный с детства фокус: он все забегал вперед поезда, пока насыпь с белеными камушками и столбиками рвалась серыми клочьями назад, а между забегавшим вперед леском и прерывисто отлетавшей под колеса насыпью — все замирала, все останавливалась неподвижная точка, обозначалась ось, словно там и колышек был вбит для вращения поля зрения вокруг него. Вот он, мгновенный центр вращения! — математическая абстракция оживала с наглядностью школьного опыта. «Сейчас она выйдет», — вдруг решил он.

Дверь в тамбур отворилась, он упорно не отворачивался от окна.

Сейчас попросит закурить...

И, о чудо, девочка на насыпи, как когда они еще махали... точно такая, в платочке в горошек, с коленками... стояла и махала, как призрак.

Этого только не хватало, чтобы двойника (двойницу...) звали так же, чтобы она еще и тезкой была... Конечно, звали ее уже иначе, как и одета она была уже иначе, звали ее скорее всего Света.

Монахов все отгадал, и как зовут, и где учится... Она ехала сдавать последнюю сессию, в общежитие дозвониться трудно, из комнат у них не зовут, но она может выйти в назначенный час к телефону. Монахов не скрыл, что женат, но то, как он отвел и удлинил взгляд, хорошо передавало разлад, о котором не хочется говорить... Света была хорошая, простая, умная девочка, которую Монахов не хотел бы обмануть...

Сигарету он галантнейшим образом ей выдал — но представление о том, что ему известен каждый шаг, обескуражило его, и он не завязал разговора.

И реанимированный было пейзаж вновь умер. Кстати стемнело, чтобы не видеть его. Чтобы не думать больше, как ты его не видишь. А думать о том, с чем же в себе никак не может он смириться, Монахов, чему удивляется? К какой такой давней уже перемене никак не может привыкнуть? и даже допустить не хочет. И эти — были стертые, кем-то, не то им же, подуманные... Возраст! Неужто он так стирает над ним свое крыло? Может, Монахов никак не может свыкнуться, что ему не двадцать пять. А почему, собственно? Он не чувствует ни боли, ни одышки, он — выглядит, он не постарел. Никто из нас не заподозрит, насколько долго, даже усвоив современные взгляды, подвержены мы давно уцененной и забытой, еще школьной идеологии. Откуда, например, убеждение, что старение есть явление как бы чисто физическое? Возраст! — думал Монахов. Вот великий закон над человеком!.. Монахов не мог допустить его действие на себя, в то время как действие его на окружающих было объективно. Распространение этого закона на себя означало, что жизнь, собственно, прожита и никак не впереди. Тогда он ее прожил то ли не так, то ли мимо, то ли не в том смысле. Перспектива, всегда открытая, вдруг захлопывалась. Господи! не готов... С другой стороны, не хуже, чем у других, это у него было: мать жива, дети здоровы, жены несчастны, но тоже здоровы, и все у них есть... а когда они были бы счастливы, интересно знать! Монахов привычно вспылел. Если причина его неважного самоощущения лишь в том, что он им не дал счастья по их представлениям о себе — то это вздор, этим — пренебречь. И хотя все равно не пренебрегалось, что-то оставалось на совести досадное, навязанное ими, но это, ясно, не главное. В том-то и дело, что Монахов именно с а м себя неважно ощущал, а не с помощью других, и — вот ведь! — тьфу-тьфу — даже здоровье было. Что же это за боль в виде ее отсутствия! несосно. Неужели все кончено?.. Что — кончено?! Что — все?! Неужто так и не ответить себе ни на один вопрос... Вопросы размножаются простым делением. Откуда он взял, откуда они все взяли — жены, дети, — что она все время и каждую секунду должна происходить, жизнь? И еще, не просто сама по себе, а по нашим о ней представлениям! Хулить общественную систему — и во всем настолько походить на нее.. Нет, она н а ш а, эта система, и твоя тоже. Давай, давай! — немудрено было давно уже ее всю выгрести, жизнь. Чего же теперь бесчувствию дивиться? Как там наша Светочка поживает?..

Обиделась. Не смотрит. Ну и слава богу. А жизнь, товарищ Монахов, придется наново начинать. Ту уже не переживешь — хвостик хоть ее распрями. Чтобы не было мучительно больно... Ой, больно! Да дался ты кому со своей виной и долгом! Что ты лезешь из кожи, к удивлению и неуважению своих близких? Кому ты нужен со своими смирениями и жертвами! Ты с а м им нужен, а где ты сам? В какую щель... не видать... Что ты прешь эту жизнь, как рояль на седьмой этаж! Не-ет, хватит.

Господи! может ли прийти в голову мысль, хоть одна, которой я еще не думал. Я ими всеми уже думал...

Светочка спала, расстегнув рот. Монахов представил, что она уже под утро... Чужая подушка... бедненькие тряпочки кое-как разбросаны по полу... птицы заверещали, рассветает окно... и она, после всей этой бури, плотно спит, вот и рот нараспашку... Монахов покосился с неприязнью и крадучись, стараясь не разбудить, соскользнул с кровати, босой по чужому полу, в руке туфли, где, черт, второй носок?.. Монахов хотел выйти, но пол под ним шатало... Поезд грохотал в ночи, все разухабистей болтаясь по стрелкам, словно не разбирая уже пути... Нет, хорошо, что не затеял знакомства... Монахов и сам дремал, некоторое время стараясь не забывать про рот, учитывая чужой опыт... пока не уснул, со всей непосредственностью сна.

...Ничего страшного. Вот предмет, похожий на другой предмет... а вот два похожих человека... И этот похожий предмет служит своему назначению, как служит с в о е м у назначению предмет, на него похожий. И этот человек, похожий на того, живет своей жизнью, как и человек, на него похожий, живет с в о е й. Что такого?

Сходство или похожесть никогда особо не занимали Монахова, и уж во всяком случае, ничего пугающего в подобном явлении он до сих пор не обнаруживал. Эта область легко исчерпывалась проходным рассуждением о том, что при бесчисленном многообразии сочетаний элементов сами элементы-то постоянны, и потому, по законам больших чисел, вполне возможен случай даже и значительного сходства в соединении элементов у каких-либо предметов, людей, явлений, совсем не родственных и весьма отдаленных друг от друга. «Отдаленное сходство», в таком случае, скорее сходство двух далеких объектов, чем просто незначительное подобие. А при бесконечном ряде возможен и случай идентичности — ну что ж, курьез, игра природы... как та же игра природы, что волей того же случая мы можем стать свидетелями подобного курьеза. Свидетелями, и только. Ответственности не несем. Ни в малой степени не должно омрачить нашу душу отдаленное сходство. Скорее можно утверждать, что всякого рода сходство или похожесть должны радовать любого нормального, не задумывающегося над пустотой человека. («Мне бы ваши заботы...» — разумный довод!) Радует же всякому сходству ребенок как первому методу познания, и нежные усики первых соображений протягиваются из не измеренного еще «я» к пока еще измеримому миру... может радоваться и взрослый, видя в явлениях сходства некое свое приобщение к окружающему миру, сродство и даже сращенность с ним.

Теперь можно употребить удивительное слово «вдруг».

И вдруг Монахов испугался. Так потрясло его это вагонное сходство... Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ. Хотя в широком смысле, конечно, не «вдруг». К этому «вдруг» его долго и терпеливо вела непостижимая жизнь. Будто из тугого и, казалось, толстенького клубка отмотал он, начиная с рождения, нить настолько длинную, что уже клубка-то и не различал: сколько там? не вся ли нить?.. Так вот, ему в д р у г показалось, что она как-то опасно натянулась: заело или кончается? Вопрос тревожный, и задать его некому. Мы не придаем случайной встрече в вагоне того же многозначения, как Монахов; может, он и сходство-то преувеличил... но, между прочим, не нам судить — это е г о встреча, не наша. Он принял ее за точку отсчета, пусть как угодно про-

изволью. Точка эта означала, что жизнь его писала круг. Теоретическая спираль его не утешала. Ему некуда было ее вставить. Под вопросом для него было лишь количество описанных им кругов — не третий ли заход?.. Третий, малоутешительный...

Во всяком случае, именно в этой точке своей смелькавшейся уже в полосу жизни приостанавливается Монахов, чтобы оглядеться. Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ, который мы назовем то ли «Тени», то ли «Отрывок», то ли «Венок», то ли, как мы смело написали вначале, — «Вкус», то ли «Отдаленное сходство». Перед тем как он выдвинет — следующую, возможно, опять ложную...

Он приехал, и они объяснились.

Новую жизнь, однако, Монахову удалось начать не сразу.

Прошло время, прежде чем странность и радикальность подобного намерения поутряслась, пообсела в сознании ближних (жены) и приняла законный и привычный вид: Монахов берет очередной отпуск и, возможно, еще месяц за свой счет, но проводит их не с семьей, а снимает за городом комнату, где ему наконец никто не мешает обобщить его опыт. (Якобы очередная монография, «Висячие сетчатые конструкции»...) Но вряд ли все это можно было теперь назвать п о б е г о м или «вита нуова». Толстой... оскалившись по-волчьи, сказал себе Монахов. Однако был он к себе несправедлив: не будь он непреклонен в своем решении, не убедись жена в неизбежности, не привыкни начальство к идее... вряд ли бы он жил теперь на даче, вырванный из «заботы суетного света», с перспективой жить так два месяца... Достижение — практически невероятное!

Он говорил: «Я живу напротив могилы поэта», — и странно звучало это «живу».

Он произносил эту фразу впервые и не был уверен, что не повторяет ее в сотый раз. Кратность преследовала его. Кратность мыслей, слов, встреч. Все это нуждалось в сокращении, как кратная дробь. Ему пора было уехать. Одиночество было ему необходимо. Но до тех пор, пока его надо было добиться, это была еще цель. Он внес вещи в комнату, разложил на столе чистую бумагу и словари, вскипятил чай... И за кратким детским удовольствием самостоятельного устройства с тоскою понял, что никакого одиночества нет.

Хозяйка... Но не в хозяйке дело. Это однодневная лихорадка, ею не сложно переболеть. Как спускать воду, как зажигать газ... это пройдет. Что-то другое не устраивало Монахова в этом прославленном месте. Непонятно что. То ли оно оказалось не таким, как он ожидал... но это тоже явление сверхобычное: место назначения всегда такое — не такое, как представлял, тем и замечательно. То ли вообще его не было... Монахов взглядывал в окно, и ему становилось пусто. Не то чтобы его вообще не было: сосны, кустики, дорожки, сараюшки — всего этого было в достаточном количестве. Некоторая частность, неоформленность пейзажа, общая мусорность — так это и есть специфика именно дачного места, за пейзажем ездят подальше, уже в деревню. Так ведь эту-то суетолюку и сорность тоже можно любить, Монахов как раз и любил, он знал и узнавал отличия это. И тем не менее этой местности как бы не было, то есть, точнее, она у же была. Была когда-то. Не так давно кончилась... Монахов приехал и уже ее не застал. Не было местности.

Как мысли раздражали его своею уже «подуманностью», а

люди — своею уже «встреченностью», как вся жизнь — своею «траченностью», так, возможно, и местность эта. Именно т р а ч е н н о е место, будто битое молью (хорошо представить себе подобное насекомое, питающееся пейзажем...). Но был здесь и еще оттенок. Если ощущение кратности, бывшести, повторности, владевшее им в отношении людей, мыслей и чувств, было его личным ощущением, им почувствованным, им же и обеспеченным (в смысле нажитым), то есть несшим в себе оттенок заслуженности и справедливости (возмездие за несправедливо прожитую...), то в пейзаже этом, в его неудовлетворительности, он если и был виноват, то лишь отчасти, причем несущественной части. Кто-то употребил, выпил эту природу, так что Монахову она уже не досталась.

Монахову не хотелось смотреть в окно. Сосна как сосна: кора, хвоя... но и она не жила той спокойной, уверенной жизнью дерева, к которой привык Монахов у себя на севере — она как будто достаивала сосною, а уже была в душе доскою, валежиной; по ней пробежала бывшая белочка с мертвым мехом, оживший обрывок тетушкиной муфты. Вид из окна был испит, в лице его не было ни кровинки, а Монахову предстояло два месяца вглядываться в него, черная жизнь и равновесие. Планы! Представления!..

Кто же это высмотрел дотла?.. — неприязненно посматривал по сторонам Монахов. Он именно скользил взглядом, чтобы не запорошить глаза пеплом, который мог посыпаться от неосторожного взгляда с этой видимости леска, пригорка, пашни... Не иначе, как живший здесь поэт. Незадолго до Монахова. Пейзаж достаивал после его смерти в глазах оставшихся, не более того. Именно так и объяснил себе Монахов глухое недовольство, ворочавшееся в нем и не находившее формулы. Наждачность поэтического взгляда, содравшего пыльцу с невзрачных крылышек окрестностей, преследовала его воображение, хотя сами-то стихи поэта Монахов знал слабо, а теперь почти мстительно собрался достать прочесть, чтобы убедиться в том, стоили ли они того, чтобы ликвидировать небольшую местность... Припоминал фотографию: в ватнике, кепаре и кирзовых сапогах, опираясь на мотыгу (из-за которой он и запомнил фотографию), более похожий на могильщика из «Гамлета», чем на его переводчика, вглядывается перед собой, по-видимому, в тот пейзаж, остатками которого так и не довольствуется Монахов.

Да, эта местность уже была. Монахов не собирался ее описывать, однако и ему ее не хватало.

Люди, мысли, чувства, и вот теперь местность — все это уже было. Неужели и я — уже был? — вот был вопрос, к осознанию которого не хотел приближаться Монахов. А тут еще и местность, между ним и вопросом, кто-то чужой, до него живший, взял и убрал, скатал, как собственный коврик...

— Я живу напротив могилы... — повторял Монахов, нажимая на «живу». Так никто и не отметил в этой фразе каламбура, пусть и неудачного. Улыбались, будто пожимали плечами.

— Поселок дачного типа, — вдруг сказал он.

«Зона отдыха трудящихся Одинцовского района», — красовалось на платформе. «Косою полосой шафрановой от занавеси до дивана...» — Монахов усмехался. Чтобы отделаться от этой странной неудовлетворенности местностью, он расширил свое шапочное знакомство с поэзией. Стихи, в чем он вслух не смел признаться, все-таки не нравились ему. Их усилие быть казалось ему чрезмерным. Что же поделывать, если не Михайлов-

ское... так уж надо и душу вытрясти из бедненького пейзажа... Хотя, странным образом, именно стихи, написанные здесь, нравились Монахову все-таки больше.

Одна лишь церковь на пригорке горела с тою же силою, что и в стихах: «как печатный пряник». Радовала глаз. Из-под нее, вниз по склону, вплоть до речки, спадало кладбище, на котором и был похоронен поэт. На могилу, предмет обязательного паломничества каждого прибывшего интеллигента, Монахов решил не ходить. То ли не хотел уподобиться, то ли не причислял себя в этом смысле к интеллигенции, то ли всех остальных к ней не причислял, то ли считал более оригинальным «жить напротив», чем и ограничиваться, то ли кладбищ не любил... побуждение это не было достаточно ясным. Возможно, опасался «рифмы».

Симптомы, синдромчики... «Рифма» была его собственным понятием, которое следует пояснить.

Где-то я это уже встречал, читал, слышал... Что-то мне это напоминает, не могу вспомнить что... Какое знакомое лицо!.. Мы с вами где-то встречались... Ах, я это вам уже говорил... Знаю, знаю, слышал... Все эти обыденные случайности, расхожие речевые обороты, ничего до сих пор не значившие, вдруг стали намекать Монахову на наличие в себе более затаенных смыслов, чем способен заподозрить нормальный человек. Что-то обязательно повторялось на дню из того, что до сих пор могло годами не происходить, будто копилось в этих годах, чтобы вывалиться вместе... Скажем, поймал себя за странным делом: набрел на запылившийся завал в ящике стола — фотографий, квитанций, записок... и вдруг начал стричь и клеить, искать совершенную композицию, пока к концу дня не был у него готов замысловатый коллаж, о жанре которого он и понятия не имел. Ни одна бумажка не пропала!.. Монахов застиг себя любующимся делом рук своих, смутился, спрятал поглубже, чтобы никто не увидел (жена). Вечером она (жена) вдруг просит его выстричь ей трафарет из иностранного журнала — и с насмешливым удивлением проводит Монахов остаток вечера, орудия теми же ножницами и клеем («Как у тебя ловко получается!» — Монахов взглядывает с опаской — да нет, не может же она видеть сквозь стены и ящики!.. «Я в детстве ловко выстригал...»). В том-то и соль, что до сего дня Монахов, и это он знал точно, ничего подобного не выстригал лет тридцать. Впервые отчетливо проступил для Монахова этот закон, когда он стал водить машину. Пробив себе привычные, стандартные маршруты, от которых его редко отклоняла жизнь, он знал уже с точностью, что если его вдруг забросит в угол города, в котором он никогда не бывал, по какому-либо поводу, тоже достаточно небывалому, — скажем, отвезти в ремонт пишущую машинку подруги жены, то это значит, что вечером того же дня он окажется в том же месте во второй раз в жизни, по поводу не более бывалому, сопровождая «скорую», на которой увозят его внезапно заболевшего сына (ничего страшного, обошлось, слава Богу...) в неведомую больницу, где есть место, так это место есть в больнице, что напротив мастерской по ремонту (надо же! а я тут утром уже был... и на больницу внимания не обратил). И так если и не каждый день, то через день. И больше он не выстригал, и больше он в этот район не попадал... И все объяснения подобных случайностей были Монахову известны, но скука уже сковывала язык рассуждать о вероятности. В том-то и дело, что не-вероятность! Вот он видел вчера дважды посреди улицы павшую лошадь — это сейчас, в Москве... когда и жи-

вую-то встретишь, вздрогнешь, а тут — одну видел утром в районе трех вокзалов, а другую вечером в районе «Сокола» (а что он там делал, у «Сокола», не может вспомнить...), будто эту лошадь возили за ним по всему городу, чтобы он на нее натыкался. Нет, он совершенно нормален. Ничего ему никогда не кажется. Но только всего такого стало так много, что он уже не помнит ни одного примера (и упомянутых в том числе), а помнит, что проявляется каждый день некий закон и действие. И этот намек уже больше, чем намек; он — напоминание. Чего напоминание-то?! Того, что жизнь есть независимо от того, есть ли ты. И если ты, чтобы не ловить себя на отсутствии, перестаешь реагировать на жизнь вообще, она находит способ тебе напомнить, что она есть, хотя бы вот такой рифмой. Хорошо, если не прямым ударом. Вот когда перестаешь замечать и такие вещи — пропал... жди удара... Суевверный Монахов не стал, не пытался объяснить вещи недоступные примитивно-логическими построениями, но — настораживался от подобных намеков бытия, и остаток дня проживал несколько более осторожно и чутко. Поизносившаяся ткань собственной жизни просвечивала для него в такие моменты своим лукавым смыслом, навсегда утаенным от логического должествования. Монахову хватало настораживаться, но не пытаться ухватиться за мелькнувший тайный смысл, чтобы окончательно не повредить ту ветхую ткань, сквозь которую он зиял. И конечно же, довольно часто Монахов замирал на полуслове, на полужесте, вдруг застигнув прозрачное это мгновение за пробуксовкой: оно уже было, не припомнить когда, но точно в такой вот точке времени и пространства, на том же полуслове, он уже бы в а л! он это точно помнил, он узнавал этот текущий миг, как уже бывший... Время делало полный оборот, попадая в ту же точку со случайно налипшим на его обод Монаховым. Означало ли это, что в нем самом оно кончилось, время?.. Или довольствоваться всеобщими (и его собственными) рассуждениями о безвременье?

В понятии «рифмы» времени, сформулированном для себя Монаховым, заключалось и то, что это было единственным способом, каким умудрялся теперь Монахов отметить жизнь как идущую, как живущую, как существующую помимо. Он не имел больше воспоминаний. Конечно, и он мог сказать: «А вот я помню...» — и повторить что-то затверженное, как чужое, будто и никогда с ним не бывшее (как он, бедненький, упал с крыльца и зашиб лобик... для убедительности указывал на шрамик во лбу и почти с изумлением его под пальцами обнаруживал: шрамик-то бы л... он был на Монахове, но его не было у самого Монахова: так могла пристать к его пиджаку нитка), и скучно становилось ему от этой кражи чужих воспоминаний, потому что он их именно крал, и даже не у себя, когда-то что-то пережившего, а уже у следующего себя, что-то пережитое когда-то помнившего. Нет, ему не исполнилось еще тридцать три... Нет, не тридцать четыре. Позвольте, какой сейчас год? Еще не будущий?.. тогда тысяча девятьсот семьдесят такой-то... минус тысяча девятьсот тридцать такой-то — как раз тридцать три. Но еще не исполнилось...

И опять, он абсолютно здоров. Никакого склероза. В уме перемножает трехзначные числа. Может, если надо, восстаноить любой отрезок прожитой жизни с юридической точностью. Помнит в се, без обрывов, если надо — вспомнит. Но ему не надо. И он ничего не помнит. У него нет воспоминаний. Одни напоминания.

Рифмы. Топ-топ. Как-то даже смешно. Если что-то, то еще раз то же самое. Он не хочет сегодня второй раз встретить однокашника, которого как раз не видел к сегодняшнему дню двадцать лет. Так он его сегодня встретит. Если надумает сейчас махнуть в баню — так он там, и если решит, ни с того ни с сего, съездить в Ленинград, они поедут на одном поезде.

Поэтому-то он и не хотел идти на кладбище навещать могилу, чтобы не вызвать у судьбы повод тотчас попасть на него снова, уже более по делу. Не то чтобы точно так думает Монахов, это было бы уже состояние, близкое маниакальному, а он, мы повторяем, здоров, но вот нежелание и остратка — есть. И если бы его не затащили, он бы сам не пошел... Нагрязнула Светочка (та, похожая...), и он непременно должен был ей эту могилу п о к а з а т ь; что он ее сам не видел, она не поверила и обиделась, что он-то видел, а для нее не хочет и лишнего усилия сделать... Так его поход со Светочкой все равно стал «вторым» посещением кладбища, хотя бы и в чужом сознании. Искусственное непосещение не было зачтено ему судьбою.

Они брели между могилами, но не находили поэта. «Ты же был на ней! как же ты не запомнил...» Монахов уже не возражал. «Давай спросим...» Спросить Монахову было неловко. Это как бы следовало з н а т ь. Сейчас, разыскивая, он поневоле пристально вглядывался в каждую. Причем даже не без любопытства: давненько, слава богу, на кладбище не бывал, давненько не хоронил... Кладбище было отчасти привилегированное, некоторые могилы привлекали внимание. Но и не приблизившись еще на достаточное расстояние, чтобы различить имя умершего. Монахов уже знал, что очередная заметная могила не может принадлежать поэту. Так и оказалось. И они шли дальше. Монахов не размышлял над тем, что могила, которую они искали, должна отличаться, и почему, собственно... он был уверен, что она д р у г а я, чем все, уверен заранее, не задумываясь и не утруждая воображение, остальные могилы были богаче и беднее, но они были одинаковы по отношению к безуспешно разыскиваемой. Чем должна была отличаться та могила — вопрос этот, будь он неладен, поставил бы Монахова в недоумение; тем более что он не отличался преувеличенным отношением к поэту. Но, безусловно, не анализируя и не вдаваясь, само ожидание д р у г о й могилы означало отличие поэта от остальных смертных. Вот уж смертных!.. Трогало и забавляло Монахова усилие продлить жизнь в памятнике. Вот монумент, к которому в надежде убыстрил он было шаги... ближе стала видна безнадежность пропорции — опять не то. Зато мрамор и барельеф! клумба! скамеечка и тумбочка под замком... решетка... Много. Монахов разглядел барельеф — лица этой женщины тоже было много, оно ничего не выражало, кроме солидности и богатства, которые выражал и сам камень... На решетке еще и висел замок, тяжелый и прочный. Пышная могила, лицо пышной женщины — пышность и была выражена. Больше ничего не мог узнать Монахов, однако знал уже много. Эта мысль о сходстве покойника и памятника удивила Монахова. Правильно... замок... что же еще, какие еще мысли, кроме грабежа, разбудит эта могила?.. Монахов миновал ее, будто давно был знаком с усопшей, так отчетливо был возведен над ее гробом ее характер. Как живая... мысленно повторил он про себя вздох удовлетворенных родственников, проточно вглядываясь в барельеф: белый мрамор, много щеки, красная стена, статная, как возможный торс усопшей... нет, до чего похожа! восхищался Монахов. И далее эта мысль о сходстве не покидала его. Вот

еще одна могила «непоэта», хотя на ней даже вычеканена строка, напыщенная, из лысых слов, без подписи, видимо, принадлежавшая... И то, как к этой своей строке, возможно, относился автор, и то, как относились к автору близкие, именно ее выбравшие, чтобы сделать ему приятно... Опять выходил портрет. Монахов увлекся: образы покойных воскресали перед ним из памятников, несколько чересчур типические, все на характерных ролях, — они разыгрались на провинциальных подмостках его воображения как живые. Он их знакомил между собою... «Ты что смеешься?» — спросила Светочка.

— Представляешь, — сказал он. — Многие из них совсем бы не были рады своим надгробиям... Никогда бы не подумал, что любовь так разоблачительна.

— Я, конечно, не совсем понимаю тебя, — сказала Светочка. — Но что же тут смешного?

И впрямь. Монахов смутился. Попытался пояснить. Мол, ближние из любви, пытаюсь сделать покойному приятное, выставляют ненароком нечто самое характерное, может, тайное, невольно создавая образ: то ли человек слишком любил почет, то ли вкладывал душу в достаток, то ли питал тайную слабость к собственным литературным опытам... А они это его сокровенное — напоказ... Монахов еще пробормотал, все слабее и неувереннее. «Мы уже тут были», — сказала Светочка. Они описали круг. «Ты права», — сказал он, вдруг разглядев Светочку и потрясшись ее бессмертием. Каждая клеточка ее была молода. Она уже сорвала с могилы цветок, устроив его за ухом. По особой иронии она была в белых тапочках... Он погладил ее по щеке, как гладят яблоко или персик, не веря пальцам своим, что они такие. Она совсем не так его поняла и смутилась радостно. Бессмертная.

Она была так же кстати на кладбище, как кстати на нем цветы, кусты, птички.

Монахов никак не мог себя таким же образом уподобить, чувствуя себя на полпути от Светочки до могилы. С подземными жителями у него, пожалуй, нашлось бы побольше общих тем для разговора... И тут, уже сочтя сокровенную могилу заговоренной и сожалея, что не спросил-таки дороги сразу, и устав, пытаюсь выбраться из очередного аппендикса, ввинтившись по свернувшейся улиткой тропке за рядок молоденьких, недорисованных берез, он опять зашел в тупик и долго и тупо смотрел на серый камень, вздорный профиль, факсимиле... «Так вот же она!» — радостно воскликнула за плечом Светочка.

Вот оно, одиночество!.. — воскликнул мысленно Монахов. Когда человек не хочет больше видеть людей, так ведь он ничего против них не имеет — он себя не хочет видеть с ними рядом... Почему-то на этой могиле, наконец найдя, ему стало не того, в земле, — себя жалко. И так сильно, что ощутил он эту жалость почти как утраченное счастье, и окружающий мир вдруг подступил вплотную, подставляя глазу все живое, из чего состоял: то листок выворачивал ему свою бархатную насекомую изнанку, то травка перед ним выгнулась, то ветерок от шевельнувшейся в дреме ветки прикасался к его щеке, то тень от прошмыгнувшего поверх облака прогулялась вокруг, заглянув во все освещенные уголки... и ни за что не хотелось бы уйти из этого мира! Ах, не готов. На секунду показалось Монахову, что мир опрокинут, хотя он и не задирает голову; что будто он лежит на спине, и вечно все это над — отведенная ему лужица мира... ну если так! — восхитился Монахов. Тогда бы

еще можно... Чтобы «надо мной склонялся и шумел»... тогда можно. И не надо больше. Когда и столько — все. После смерти человеку достается мир дерева — не так мало. Он наконец укоренен. Мир приходит к нему, чтобы он на него посмотрел. Дерево не может увидеть столько, сколько человек, но сколько человек видел дерево, столько и оно его видело... Странное это соображение не позволяло Монахову переступить, ему казалось, что он никогда не сойдет с места. Очень бы хотелось... он слишком хорошо знал, что сойдет наконец, — опытная точка заходила с тыла. «Прочитай мне какое-нибудь его стихотворение», — шепотом попросила Светочка. О боже! — взвыл про себя Монахов, совершенно про нее забывший. И уже переступил.

«После», — сказал он совершенно без гнева. Могила эта поражала бедностью. Какая вроде бы и пристала поэту... Но нет, не такая! Она была вполне на уровне здешних зажиточных могил, еще и с избыточным вкусом и интеллигентностью. Но какая все-таки бедность, в чем? У Монахова не было отчетливого образа для того ожидания, которое исподволь разгоралось в нем, пока он искал. Теперь, увиденный, этот образ был утерян навсегда: могила была такой, какой была. Воображение было разорено. Бедностью воображения она и поражала: ограды нет, загончик из жердей — вкус... камень светло-серый, как пыль, неполированный — достоинство... травка, газончик вместо клумбы — скромность... рядок тех самых березок — простота величия... продуманная сень — намек на лиру... Что можно еще придумать и чего избежать? Все. Если не посягать, то все. А если посягнуть, то и бедность покажется нищетой. Потому что памятник гению не может быть и памятником гения... Это хорошо. И этот — подобен. Правда, дистанция между ним и памятником как бы обратная и очевидная... И все-таки. Не этот ли профиль на сером камне заставлял его, еще живого, застывать на последних фотографиях столь благородно и чеканно? не этот ли жердяной заборчик, демонстрирующий строгость вкуса, порожден его гением, слабым в ближних? речка текла внизу так же, как и до него, и независимо от него, разве еще оскудев и измельчав.

Каждый заслужил свое надгробие.

Справедливость подобного заключения венчала толкотню секунд в смуте и суете прижизненного времени. Справедливость и есть единственная мера времени с единицей в одну человеческую жизнь.

Пора было идти. Оставалось подумать о любви к себе после смерти. Головокружительно и невозможно. Мама пьет чай, открывая еще прижизненную банку варенья, жена перешивает юбку, сын заперся в ванной...хлопоты сборов в дорогу — субботник по уборке могилы — ищут и находят... забывают в последний момент сверток с грабельками и совком, решают не возвращаться: не будет пути...

К могиле приближались. Два голоса по проторенному Монаховым пути, не сбиваясь... Один — недовольный интеллигентный баритон, другой — попроще, семенящий алкогольный говорок. Недовольный накачивал в себе интонацию строгости и недовольства, словно сам не очень-то доверяя своей грозности, но не допуская такого недоверия с чьей-либо стороны. Простоватый — недобросовестно имитировал сообразительность и будущую исполнимость, по-видимому, состоя в наиболее простых отношениях с будущим, то есть все наперед зная. «А я говорю, другая культура тут не взойдет», — сказал, оправдываясь, он, и слово «культура», не принадлежавшее его гортани,

отделилось и застряло в ухе Монахова. «Культура...» — со странным гортанным клекотом повторил баритон. И они вошли, отрезав Монахову и Светочке путь к отступлению. Седоволосый и тот, другой, в ватнике... Будто он не ожидал, что кто-нибудь есть на могиле... будто здесь никогда никого нет... Монахов смутился, успев, однако, быстроватым взглядом ухватить надменность профиля седоволосого, и теперь сличал его с профилем на камне. Сын... думал он. Определенно сын... «Сын», как бы недовольный присутствием посторонних, смотрел в сторону, прервав себя на полуслове: пошатал жердочку ограды, отер ладонь... Монахов подтолкнул Светочку к выходу, пришедшие посторононились, пропуская. В проеме калитки Монахов, не ожидая этого от себя, сказал «до свидания», и «сын» кивнул кратко, как экзаменатор, и тут же стремительно впорхнул за ограду. «А вы сажали?» — тут же загудел за спиной Монахова его недовольный голос. «Как не сажать...» — отвечал могильщик.

Монахов был почему-то тронут. Сын непременно любил отца. И эта хозяйственная деловитость была почему-то как раз в пору гению. Монахов быстро шел по тропинкам, будто давно зная дорогу, будто раскланиваясь с уже знакомыми могилами короткими кивками на ходу. Вот собственница... а вот автор строки... Нет, кладбище — это не то место, на котором покончены счеты с жизнью, думал Монахов. Вон как покойнички вцепились в нее и не выпускают... Им изменило только движение; остальное — все еще при них: положение, вкусы, тщеславие... и вот даже... любовь ближних и признательность соотечественников...

Я кончился, а ты жива,
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу...—

читал он Светочке по дороге к дому то, что помнил.

Не каждую сосну отдельно,
А... та-та-та... все дерева. .

«Забыл», — сказал он. Было особенно безветренно и тихо. Так оказалось, что могила эта произвела-таки на него впечатление. Мысли его приняли необычный ход, он что-то такое стал отмечать вокруг, как бывало: листик там, какое-нибудь мелкое животное, поддавал ногой камешек... И слушательница рядом была. Во всяком случае именно ей он мог поведать мысль о том, что сильные впечатления вовсе не происходят как на сцене: «как вкопанный», «как громом пораженный» и в таком роде... Они проявляются не сразу — сразу как раз характерна реакция торможения перед непривычностью, значительностью или силой предстоящего нам переживания. Сильным впечатление оказывается потом: проступает, проявляется (в фото-смысле)... Таковы были его рассуждения, компенсировавшие разом как недостаток чувств, так и избыток переживаний. Так и в любви... сказал Монахов. Не сразу. Сначала кажется — так себе, а потом оказывается черт-те что. Светочка напряглась.

Монахов быстро выгреб «награду свою». За чуткость и впечатлительность. Возмездие стояло на пороге и выглядело как восторженный им поутру однокашник — что тут делать?..

— Ты знаешь, кого я сегодня еще встретил!.. — радостно возвестил он и, не дожидаясь проявления страстной заинтересованности со стороны Монахова... — Да-да, Ядрошникова!..

Ядрошникова Монахов и не силился вспомнить. Школьный приятель был такой старый... Он потряс потрепанным мешочком «Березка», в котором булькнула за три шестьдесят две; Монахов представил его Светочке, и они прошли в дом: Светочка, за ней приятель, за ними гостеприимный Монахов, с тоской глядевший им в спины.

Дальше все пошло как по писаному. Светочка отнимала у Монахова сковородку: «Где у тебя соль? а лука у тебя нет?» Приятель, теребя свою седоватую эспаньолку, базили, поглядывая на Светочку и определяя степень ее с Монаховым отношений, пока еще не отводя его в сторонку, чтобы спросить, давно ли «он с ней» и «как она»; у Монахова наконец что-то всплыло про него в памяти, а именно, что приятель еще в школе слыл первым «по этой части» — сейчас он, с брюхом и сединою, уже как бы не должен был нравиться, потому что не нравился Монахову; Светочка была оживлена. Наконец она позвала «мальчиков» к столу. Приятель произнес длинный тост, вставляя английские словечки (он, оказывается, был и по этой части); Монахов от смущения заторопился выпить, поперхнулся; Светочка же ничего, не находила приятеля ужасным... Н-да, уединился... с тоской подумал Монахов, выпил еще, и — отпустило. Он очень удивился, обнаружив себя через некоторое время рассказывающим один запомнившийся ему школьный эпизод: как украли в кабинете английского магнитофон — тогда еще редкость, — а воров так и не нашли... «Ты разве не знаешь, кто украл?» — удивился приятель. «А ты знаешь?» — «Конечно», — сказал приятель, но секрета не раскрыл. «Ит ваз э марвелос стори, — добавил он таинственно. — Ты Асю помнишь? Ну да, как ты можешь не помнить...» «При чем тут Ася!» — Монахов зачем-то рассердился. «Он был в нее влюблен», — пояснил приятель Светочке. «Она была моя жена», — хотел сказать Монахов, но не мог выговорить «была». «Влюблен?..» — приподняв бровки, протянула Светочка. «Ты знаешь, что она умерла?» — «Не-ет», — посомневавшись, ответил Монахов; он пытался как раз припомнить нечто чрезвычайно неприятное, связанное каким-то образом именно с этим приятелем... Будто как-то раз ужасно приревновал Асю к нему... Неужто за дело? Так, повидимому, постарался тогда тут же это забыть, что и забыл. «Какой ужас!» — воскликнула Светочка. «Рак», — подтвердил приятель. «Сначала т а м все вырезали, потом удалили одну грудь...» Монахов давно не пил, тем более за три шестьдесят две... «Мерзкая все-таки эта водка», — пробормотал он и вышел, задев стол.

Никогда в жизни он не блевал. С чего бы это?.. Он вышел на крылечко подышать. Дул поверху ветер, а внизу было тихо. Вершины сосен качались, ветер шуршал хвоей. «Жалуюсь и плача...» — вспомнил Монахов и больно ударил кулаком по перилам. «Тьфу, черт!» — сказал он, трясая кистью, и вернулся в дом.

Ни Светочка, ни приятель, однако, никуда не исчезли; Монахов глупо удивился их присутствию и не обрадовался. Приятель сидел уже рядом со Светочкой, гадал ей по руке. «Да! — восхитился Монахов. — Вспомнил! Тогда, двадцать лет назад, он точно так гадал по руке ей...» Монахов и про себя не назвал ее по имени... (Тень того неприятного воспоминания косо спланировала с шорохом ночной бабочки, вызвав озноб в спине.) «Лонг инаф, стронг инаф, пут ит ин», — рассказывал тем временем, смеясь, приятель. И это Монахов вспомнил, и этот анекдот он тогда рассказывал про Лонгинова, Строганова

и Путятина (фамилия приятеля была Путилин, и он относил анекдот на свой счет). Светочка английского не знала, она изучала немецкий. Какой же язык изучала она?.. — Монахов не мог вспомнить. Конечно, она и того не знала, какой изучала, но все-таки какой?.. Поняла ли она тогда эту шуточку?! Монахов зло посмотрел на «Пут-ит-ина» и пошел ставить чайник.

«Дай я сделаю,— Светочка отняла у него,— ты не умеешь». — «Что тут уметь? — возмущился Монахов.— Кофе-то растворимый!» — «Евреи, кладите больше заварки», — рассказал анекдот «Пут-ит-ин». Светочка долго крутила ложкой в сухой чашке. Монахову это казалось ужасной пошлостью. «Кто тебя этому научил?» — спросил он неприязненно. «Будет с пеночкой», — пропела Светочка. «Тебе нехорошо? — заботливо спросила она, подавая ему чашку.— Смотри, какая пеночка... Ты так побледнел». — «Ты меня спрашиваешь или я побледнел?» — «Почему ты со мной так разговариваешь?» — насторожилась Светочка. «Опоздаешь на электричку», — сказал Монахов.

Светочка наконец обиделась и стала стремительно собираться, дрожа губами. Приятель, молча и понимающе наблюдавший, тоже встал, не забыв свой мешочек «Березка». «Мне тоже пора», — сказал он.

Светочка выпорхнула не прощаясь. «Так мы тебя ждем завтра», — сказал приятель. «Как это мы?..» — опешил Монахов. Уже мы!.. — поразился он. «Ты что, забыл, с Ядрошниковым, мы же договаривались...» — «А, да...» — сказал Монахов. Приятель уже спешил. Монахов услышал его грузный бег. Догонит...

Он прикрыл глаза и поплыл, комната два раза повернулась вокруг оси... «А, что!» — вскочил он как ошпаренный. Кто-то стучал в окно. Он впустил заплаканную Светочку. «Ну, ну, извини...» — Монахов не выдерживал женских слез.

Светочка сбивала постель, как пеночку. Легли, и Монахов погладил ее по прохладной от слез щеке... Что на него нашло? — удивился он. Обидел девочку... Путилин тоже... Монстр, конечно, но ведь вполне добродушный. Светочка поцеловала его руку. «Ты что?» — Монахов ласково руку отнял, опустил ей на грудь. Грудь была крошечная, детская. Он отдернул руку, будто его ударило током. Ужас иглою пронзил Монахова, словно рука его провалилась в дыру. «Ты что? — нежно спросила Светочка и опустила свою руку вниз.— Устал? Спи, милый».

Зато утром он был рад, что Светочка оказалась рядом.

Он проводил ее на станцию и позвонил домой. «Неужели? Когда? Она была без сознания?.. — бессмысленно повторял он.— Еду. Конечно, прямо сейчас и еду».

Как некровному родственнику пришлось Монахову принять это на свои плечи. На это он как раз не досадовал и принял (про эти дела нельзя сказать — легко и охотно, можно сказать — готовно). Досадовал он скорее на то, что не оказался готов к этой смерти. Не в том смысле, что был потрясен; нет, бабушку было, конечно, жаль, но бабушка была обречена, это было уже неизбежно, вопрос лишь когда (вчера); бабушка была не его. Досадовал же Монахов на себя, что эти дни, когда все наконец было свободно и спокойно, провел он впустую, ничего не поработал, никак не преобразился... и вчерашний день в особенности заставлял его постанывать от стыда, тем более перед лицом с... да, именно ее... Будто он был виноват в том, что на его голову — Светочка, Путилин... Он их искал? звал? Они его д о с т а л и... В конце концов точки над «и» расставлены, и он

свободный человек, — так что и так он виноват не был. Не виноват же он, что бабушка умерла!.. Все это так, но выстроив все эти неоспоримые доводы, оказывался он виноват снова и снова, и в том, и в другом, и даже в бабушке... Не был готов. «Достаток распутного равняется короткому одеялу...» — он любил криво ухмыляться этому изречению, считая его подходящим именно к такому случаю. Случаи такие (без бабушки...) бывали. Не сразу удавалось оправдать чувство вины похмельем. Как-то оно всегда казалось более убедительным, чем просто плохое самочувствие.

Кто обмывает? Кто бегаёт с гробом?.. Кто стрижет на кухне составные части салата?.. Кто топит котят? Вот котят-то как раз и топят самый что ни на есть нежный человек. Другой за это не возьмется... Покойная их топила.

Монахов ее хоронил.

Итак, слава второстепенному персонажу! Это именно он хоть что-то делает за героев — чувствующих и живущих. Это он приносит им телеграмму, довозит до дому и оказывает первую помощь. Обслуженные со всех сторон, подключенные проводами разного рода к свету, воде и информации, они получают время и силу на те мысли и чувства, которые годятся в прозу. Прозаик мог бы и впрямь полагать себя взобравшимся на пирамиду жизни, властвуя уже и над самими героями, если бы в своей жизни бывал бы так же хорошо и невидимо обслужен, как его герои. Но ему, в жизни, все время приходится заниматься именно тем, от чего он освобождает героев, — в жизни он перегружен функцией второстепенного персонажа; для себя он далеко не так свободен, чтобы успеть ощутить жизнь, доступную его героям. Все закругляется, замыкаясь в кольцо, властвуя над героями, он для них напишет книгу, которую они возьмут в руки, или захлопнут, или забудут в такси, — напишет на правах того же, кто их довез или принес им телеграмму. И прозаик устает, и его симпатии все более располагаются к случайно упомянутым вскользь и тут же пропавшим со страницы тетушкам и возницам, пьяным водопроводчикам и даже милиционерам, его начинает раздражать настойчивая и эгоистическая жизнь героев: с чего это они взяли, что именно они живут, а я что, и жить не должен?! Денег у меня нет, семьи распались, и мне, не хуже чем Иисусу, «некуда прислонить голову». Хуже, чем Иисусу, потому что я еще к тому же и не Иисус, а — смертен! На кого же потратил я жизнь свою? Второстепенные птицы имеют гнезда, второстепенные лисы имеют норы... Герой мой входит и выходит из с в о е й квартиры, теряет, подлец, от нее ключи! Так ведь придет второстепенный, пусть пьяный и неумелый, слесарь и впустит его, и вот он снова у себя дома... А ведь и я мог бы проводить свое время с кем-нибудь, кто мне дороже моего героя, так мне — негде! На том свете меня кто-нибудь напишет... помучит, конечно, но зато сам не заметит и не поймет, какими неизъяснимыми свободами принадлежности себе вознаградит за это... Но то беда, что даже Гамлет напишет Шекспира похуже, чем Шекспир Гамлета. Кто-то уже желчно подметил про упадок русской литературы, что в ней прежние персонажи стали самовыражаться, что последующую литературу стали создавать Башмачкины и Пироговы, Лебядкины и Передоновы. Возможно, он прав и в смысле критическом, но для меня он прав в вышеупомянутом смысле, его устами глаголила... Раньше я оберегал героев от смерти, теперь мне понятна великая традиция их изничтожения: нельзя оставлять их после себя, развращенных тою свободою, которая возможна лишь на страницах. И то

сказать, что же это за конец романа?.. Герой идет по утреннему городу, розовый от рассвета, блуждающая улыбка идиота, символизирующая начало новой жизни, отражается в асфальтовой луже (потому что непременно проезжает на этой странице поливальная машина, ведомая второстепенным персонажем...) — куда он выйдет, перешагнув мелкое и не всегда даже встречающееся препятствие из дат и мест написания? Правильные герои умирают на последней странице, ибо, изнеженные в книжном пространстве, они просто не выдержат выхода за ограду обложки: там им некому будет подать и поднести, там их решительное социальное падение из главных во второстепенные на уровень живой жизни совершенно не устроит. Так что смертельный исход на страницах для них даже, в каком-то смысле, гуманен. А если они таки перешагнут и расползутся по жизни, как по страницам? Боже упаси! не с этим ли мы отчасти уже имеем дело? Разбредутся и еще в свою очередь напишут, а те, уже их герои, в свою очередь напишут?.. не-ет, убивать!.. только убивать их в конце. Пусть читатель пожалеет, но зато подражать не станет. И дай бог ему счастья в его живой, второстепенной жизни. Но если вы не сторонник кровожадного романтизма, а, так сказать, уже поддавшись демократическим тенденциям и симпатиям к второстепенному персонажу, отдаете предпочтение натуральной школе, то и тогда есть способ выпустить вашего героя, выращенного вами из второстепенных, за пределы художественности и обложки (что в определенном смысле и есть единство): тогда — снова свергнуть его на уровень второстепенного, унижить его, после недолгой центральнойности, так, довести до такого ничтожества и праха, чтобы убивать, право, и рука не поднялась (так, кстати, и справлялись с задачей лучшие представители натуральной школы, как-то Гоголь). Такие хоть, выйдя за пределы, не выйдут из ничтожества, не возьмутся и за перо. Потому что взяться за перо — это уже быть героем (почему и берутся, не вникнув в омонимическую каверзу слова «герой», за перо — герои литературные). Ибо та свобода, которой награждает своих героев автор, рождается из той, которую он героически отвоюет у собственной жизни — и то лишь в акте творения, лишь в акте творения!.. Но ведь — и нет другой свободы. Герой и свобода — нет расторжимей понятий! А если достиг, а если испытал, а если убедился, что она таки есть (свобода!), — то пусть и гибнет, на то и герой. Ибо что это за герой, который не погиб? что это за участь, самому себе не веря, доказывать в очереди за пивом, что ведь — было! было! вон про меня даже написано... доставать пьяные разлохмленные документы (все мое ношу с собой...) и среди них сквозящую на сгибах газетную вырезку... Ибо что это за герой, который вы-жил (язык не подведет, он подыщет глагол...)? А ведь и не выжил — а опять же погиб, только уже не как герой. Мало совершить подвиг, надо красиво погибнуть, чтобы стать героем. Тот и герой, кто красиво гибнет. То есть решительно и окончательно даря свой триумф людям, не получив «награду свою». Ибо что делать, когда и подвиг уже совершен и почести возданы? Свобода лепит героя, но свобода — это не то, чем можно воспользоваться. Ее дело ощутить. Ой, не мало! Но что делать потом с этим уплощившимся остатком жизни? Куда его девать? На новый подвиг? Но подвиги — не заготовленная впрок форма, для которой требуется лишь смелость и решительность, чтобы войти. Смелых и решительных куда больше, чем свободных. А свободу после свободы не обретешь... Поэты — певцы свободы не потому, что воспевают ее, а потому

что — гибнут. Оттого с ними и носятся, как с героями, что они удерживают свободу дольше всех и сохраняют за собой ценой гибели. Поэты — это герои самой литературы. Они уже не люди, но и не персонажи. Они — граница жизни и слова. Свободным, им ничто не грозит, кроме у-спеха, слова, равного слову «выжить». Но успех — это не слава.

Куда проще на второстепенных ролях... Кто подсунет пейзажик за спину героев, кто даст передохнуть от настырности их бытия читателю? Кто тайком отдохнет в отступлении сам?.. Автор.

Машина, простояв три дня, не заводилась. Именно сегодня, когда она была так нужна. Монахов попробовал все, что сам знал, последовал всем советам, которые ему дали редкие дачные прохожие, в том числе — полизал электролит. «Ну как, кислый?» — спросил советчик. «Не зная», — с тоскою отвечал Монахов: лизнув, он ощутил во рту лишь спекшийся вкус кофе и сигарет — вчерашнего дня. Сердце противно билось. Он был нездорово возбужден. Он спешил соответствовать. Была тут не только готовность помочь и поддержать жену и ее близких в горе, но и какая-то даже охотность — отделаться на время от самого себя под столь благовидным предлогом. Второстепенность и ответственность его роли как-то сразу подошли ему, ему стало удобно употреблять себя — бескорыстно, по чужому делу. Не он умер, и не у него умерли, и некому, кроме него... Смерть делала все несомненным, как она сама. Нужен был Монахов, и вот он; нужна машина, и она все-таки завелась; нужен был, по видимому, гроб... и Монахов ехал.

По дороге он понял, что не может вспомнить покойной, хотя виделись они достаточно часто и не так давно. Помнил только, что ей стало плохо, когда она впервые увидела мужа внучки, то есть Монахова. Она лежала навзничь поперек кровати, с белым фарфоровым лицом, приоткрыв рот, сверкая полоской золотых зубов. Она лежала нелюбезная, злая, и Монахов не мог понять, чем он ее так напугал, кого это она ожидала на его месте увидеть, какого такого принца? «Графиня...» — вспомнил Монахов «Пиковую даму» и усмехнулся: занятно то, что бабка и впрямь была графиней... Но за первым впечатлением шел провал из подчеркнуто вежливых приветствий и чаепитий («Вам покрепче?») — Монахов обнаружил, что забыл покойную еще при жизни. Он про нее не помнил, он про нее з н а л. Знал, что у нее расстреляли мужа (деда жены, графа), и второго мужа (кажется, князя) тоже расстреляли с интервалом в девять лет; что всю жизнь проработала она медсестрой (почти шестьдесят лет), слыла, ее знали титулованнейшие наши медики, которым она до самой смерти, уже не работая, могла позвонить и попросить за кого-нибудь (и они исполняли). Скромнейшее существо... Вспомнил вдруг ее шляпку, рисовой соломы, из Парижа (почему из всего выжила именно эта шляпка?..) — трудно даже вообразить, что э т о можно надеть, так она ее всякий раз надевала перед зеркалом, и когда отходила от него, то это была уже и впрямь шляпка, надетая единственным образом, как в те времена. Бабка п р о с т у п и л а наконец в сознании Монахова, а именно, смех ее он услышал, смеялась она очень молодо и заразительно. Монахов еще подумал, что память на голос у нас гораздо точнее, чем на лицо. Перебрав в памяти знакомых мертвых, он вспомнил голос каждого и каждый раз поеживался, до чего отчетливо этот голос звучал. К

голосу отчетливей всего припоминалась улыбка, от нее — ухо, щека, вот уже и лицо стало видно отчетливо, сейчас можно и в глаза заглянуть... в этот момент отец отвернулся, отвел взгляд, лицо провалилось, и осталась рука... рука была отчетлива и отдельна, напоминала ту, которая лежала сейчас на баранке, его собственную... раньше Монахов не отмечал этого сходства. Бабка смеялась и рассказывала почему-то именно с весельем, что они едали у себя в поместье («в той жизни», — смеясь, говорила она), ели они, получалось, все время и много (вкусно, само собой) — трудно было в это поверить, глядя на худенькую маленькую девочку-бабку, нет, толстой она и тогда не была, такая же, как сейчас... Дальше почему-то, с тем же колокольчиком смеха, шел рассказ об аресте (вхожу в камеру: мне: «Ставь самовар!», а я по сторонам зыркаю, где он? а надо было ответить: «Варенье под столом», а так они сразу поняли, что я в первый раз), потом о Соловках (она ездила навещать графа, а тот был страшный кошатник и развел семнадцать кошек, так когда переезжал с командировки на командировку, то кошек — в мешок и с мешком на новое место), было это сорок пять лет, нет, сорок шесть лет назад, — и она опять заразительно смеялась...

Бабка, и так маленькая, совсем исчезла в гробу, который привез Монахов. Пепельный лепесток... Он, однако, забыл про ленту и тапочки. Покрывало было у нее припасено собственное. Была еще железненькая, дореволюционная еще, коробочка изпод зубного порошка с землею из родного имения (Псковской губернии), единственное, что осталось у старушки, кроме шляпки. Монахов, потрясенный, машинально ее открыл и закрыл, потрясенный еще больше: земля была с т а р а я, тоже как пепел. Эту коробочку она хранила, чтобы быть похороненной в с в о е й земле. Монахов быстро съездил за лентой и тапочками и вернулся.

Ночь она должна была простоять в церкви... Монахов поехал в ту единственную, которую вспомнил, потому что отпевал уже в ней однажды одного своего знакомого. Но тогда организация лежала не на нем, и теперь он не знал, как это делается, с кем надлежит переговорить, как это оплачивается и т. п. А время уже склонялось к вечеру, надо было успеть обернуться с похоронным автобусом. К тому же — требовалась справка о заморозке, иначе якобы в церковь не положат. У Монахова голова шла кругом.

Церковь стояла в уцелевшем московском переулке, пустом и тихом. Старые же, уцелели вокруг деревья. И будто сохранившиеся со времен Саврасова грачи делали круги в смеркающем небе. Службы никакой не было, он зря дергал дверь. Он обошел вокруг — никого. Приник к щелке ворот. Старуха в черном подбирала во дворике щепочку, несла к самовару... Радостный, Монахов заколотил в ворота. Старуха, не торопясь и не мешкая, бесстрашно отворила ему. Монахов сбивчиво и торопливо, вдаваясь в подробности, боясь отказа, объяснил, в чем дело, и старуха слушала или скорее терпеливо ждала, когда он выговорится. Монахов и здесь ждал того же, с чем сталкивался сегодня на протяжении всего дня, с чем сталкивается наш человек, когда ему что-нибудь безотлагательно необходимо (он полтора часа ждал продавщицу в похоронном магазине: «ушла на базу»), — с уверенной в себе обходительностью отказа... Старуха, выслушав, сказала: да, привозите, да, она тут все время будет, да, и отопрет ему... И никакой бумаги не потребовалось, никакой справки о заморозке, на слово... Монахов был

изумлен. «Как звали?» — спросила старуха. «Что?» — не понял Монахов. «Покойницу как звали?» — «А!» — обрадованно понял Монахов и отбарабанил, как в отделе кадров, как на плацу, фамилию-имя-отчество. «Раба божия Мария,— повторила старуха,— хорошо, я запомню». Изумление Монахова переросло в восторг. Вот так просто... сказал — и все? и моего слова достаточно, и ее? неужели когда-то так и было? то-то бабка смеялась всю жизнь... Монахов вышел из старухино двора в другое время, в другое пространство. Казалось, церковь таинственной силой удерживала вокруг себя и эти деревья, и грачей, и перулок... И не так, как ему показалось, когда подходил сюда, что церковь цела еще оттого, что уцелел еще уголок, в котором она расположена, не так понимал теперь Монахов: теперь ему было ясно, что все это вокруг уцелело благодаря церкви, находясь в ее поле. Именно поле (в том, научно-популярном, теперешнем смысле) ощутил вокруг церкви Монахов... Но вот, восторженный, легкий, перешагнул он какую-то невидимую черту — раздался автомобильный гудок, скрежет тормозов, шофер погрозил ему кулаком, возвышалась новенькая номенклатурная башня, милиционер из будки посольства новенькой страны глянул на него без осуждения... и Монахов вспомнил, что он и сам на машине, а забыл, а пошел пешком — вернулся и покорно в нее сел.

Он все сделал, что надо. Он сделал совершенно все. Бабка проводила в церкви свою последнюю земную ночь. К сожалению, сказал он жене, мне обязательно там надо быть... я быстро, туда и обратно. И он поехал к Ядрошникову.

И он неотчетливо помнил, как оказался перед окнами Светочкиного общежития.

Свечка дрожала в его руке. Он поддерживал ее и другой рукою, а она все равно дрожала. Горячий воск капал на руку, Монахов чувствовал это горячее на руке с долей радости: признак жизни. Всю дорогу он старательно жевал жвачку, лишь перед самой церковью перестал, все-таки неудобно жевать в церкви... и ему казалось, что от него разит на метр вокруг; он старался встать особняком, ничего и никого не коснуться. Воспоминания вчерашнего вечера слиплись, он старался их по неосторожности не разлепить. Ощущение греха, стыда, нечистой совести было таким разлитым и сильным, что не нуждалось в уточнении; страшно было бы, если бы что-то конкретное всплыло на поверхность памяти. Достаточно было той внутренней дрожи, что пронизывала зыбкое его тело. Ему казалось, что свеча в руке как-то особенно громко трещит, не как у других, словно это он сам, скудель греха, коптит и чадит через свечу, и вкус во рту был чудовищный, и еще ему казалось, что от него пахнет псиной. Он даже сообразил, как такое могло быть, что псиной... У него вчера случился приступ радикулита, и заботливая Светочка привязала ему к пояснице клочок, и впрямь собачьей, шерсти как вернейшее средство... А с утра шел мелкий, как пыль, дождь, все висело в тумане... Вот, отсырело. Найденная причина, однако, мало успокоила Монахова; ему по-прежнему казалось, что и свеча чадит из него, и псиной несет не от шкурки, а из него, и что он стоит тут, исчадие ада, и почему-то еще под ним не разверзается, но в любую минуту разверзнется. Ангельскими надтреснутыми голосами запели старушки: и та, что продала свечи, и та, что выписывала ему квитанцию (была все-таки и здесь квитанция...), и та, святая,

вчерашня... Что и успокоило чуть Монахова, так это неприятный и понятный поп, с такой скукой и ленью отбарабанивший «Со святыми упокой...», сглатывая не то что слова, но умудряясь одними гласными произнести даже и абзац в одно слово, что на секунду Монахову показалось: не в том же ли состоянии и поп?.. Тут-то он и переступил для прочности, словно сходя с того места, которое должно было под ним разверзнуться.

Прощались поспешно, поп нетерпеливо переминался у гроба... Монахов все-таки пересилил себя и тоже приложился ко лбу покойной, следом за женой. Как бы это могло что-то поправить между ними, изменив вчерашний день... Ощувив под губами этот всегда непривычный, особенный холод, он отошел, переживая странный вкус, заполнивший после поцелуя рот. Этот отчетливый вкус что-то очень напоминал, достаточно редкое, но и недавнее. Что же? — совершенно уникальный вкус. «Аккумулятор!» — вдруг осенило Монахова, и он неоправданно обрадовался догадке. (Опять с утра он безнадежно заводил машину, да так и не завел... опять он лизал электролит.) И тогда другой, предыдущий вкус всплыл во рту... и опять не сразу... пока, почти взыв и зажмурившись... не понял он, что это был вкус Светочки... там... так что, когда восстановился, перекрыв все эти тонкие оттенки, общий вкус водки в этом перегаре, то показался он Монахову святым и безгрешным... Но вся эта радуга — водка-кофе-табак-Светочка-аккумулятор-покойница — поразила помутневшее и ороговевшее сознание Монахова, будто вкус оставался последним, еще доступным ему живым чувством. Не слышу, не вижу, не понимаю, не чувствую... один вкус!

Но снова старушки подхватили святыми голосами... а поп уже уходил, с портфелем. Тут только, и то к счастью, с ужасом вспомнил Монахов про коробочку с землей... ринулся за попом. Объяснился с трудом, задыхаясь, чтобы не дыхнуть ненароком на попа. Тот перекрестил, переложив портфель из руки в руку, эту коробочку и опять пошел. А положить-то, положить куда, в могилу? или рассыпать?.. Туда и положите... — лениво сказал поп. Куда туда? В гроб! — рывкнул он на ходу.

А гроб уже выносили к автобусу. Монахов успел подсунуть...

И тут он увидел Путилина. «Вот и я», — сказал он, улыбаясь мягкой продрогшей улыбкой. И, выдержав непонимающий, неузнающий взгляд Монахова, добавил: «Я тебе обещал помочь». Монахов этого не помнил. Путилин был зябкий, синий, отсыревший, словно стоял тут давно. «Что же ты внутрь не вошел?..» — отчужденно спросил Монахов. «Не хотел мешать...» — почтительно сказал Путилин. «Слушай!.. — сказал Монахов и сглотнул. — Это правда?» — «Что, что ты...» — испуганно, даже чуть отступив, спросил Путилин. «Это правда, что Ася умерла?»

Кто-то что-то где-то перепутал... Дождь хлестал, туман не рассеивался, и еще, сквозь него, тухлым желтком проступало солнце. Неба не было. Бога не было. Черта не было. Земли не было. Желтая сопливая глина разъезжалась под ногами. Упираясь, под углом, как бурлаки в лямке, они толкали вперед тяжкую, сваренную из труб, диаметром приближающихся к фановым, тележку с гробом. Колесики у тележки не крутились и оставляли по глине плоский салазочный след. «Сука!» — процедил Монахов, имея в виду того синего, еле стоявшего на ногах у ворот черта, который выдал ему эту вагонетку в обмен

на покойническое удостоверение. Покойническое удостоверение напоминало формой, цветом и размером бывший в пору Монахова ученический билет. «Зачем удостоверение?» — осведомился прозленный Монахов. «А чтобы вы тележку назад прикатили», — доброжелательно объяснил черт. «Суки!» — повторял Монахов. Гроб катался по трубам и сползал. Монахов видел сбоку запачканные до колен ноги друга и преисполнялся к нему благодарным чувством: «Трогательный мужик Путилин!» «Что же у него все-таки с ней было?..» Кладбищу не было конца. В кулаке Монахова была зажата бумажка, размером с трамвайный билет, на ней было написано «Участок-72», а они проползли сейчас 34-й. «На половине передохнем», — решил Монахов. Встали. Монахов оглянулся: теперь и назад кладбище простиралось до горизонта. Оно было видно все насквозь, потому что деревца были посажены лишь в первых рядах могил и еще ничего не способны были заслонить. Да и вряд ли тут что-либо могло прижиться — тут и трава не росла. Они перекурили; теперь и здесь это никому не казалось кощунственным. Монахов перевернул билетик: там было написано «Лаврик». «Бригадир, как ты думаешь?» — сказал он Путилину. «Пожалуй», — согласился Путилин. «Вот и кладбище Хованское, — отметил он. — Ховать, значит. (Пут-ит-ин, вспомнил Монахов.) И бригадир — Лаврик...» «И душу, уготованную в рай, перепутав, отправили в ад, да еще и вместе с провожающими...» — добавил Монахов. — Кто святой, кто грешник, кто живой, кто мертвый — какая и м разница?» Так пошутив, они тронулись дальше. Ботинки были насквозь. Ноги скользили сначала в ботинке, а потом уже ботинки — по глине... Однокашники вспомнили школу: трение качения и трение скольжения... Путилин казался Монахову очень близким человеком, братом. «Слушай... я давно хотел тебя спросить...» — «Да?» — «Да нет, это я так, пустое...» Путилин, помолчав, согласился: «Пустое».

Они дошли наконец до предела. Кончились кресты, кончилась и гряда свежих холмиков. Впереди, фронтом, зияли пустые могилы. И — рылись. Готовые, полуготовые, только что начатые. Могильщики по двое торчали из могил, кто по шею, кто по пояс, кто по колено — на всех стадиях цикла. Впереди простирался бескрайний пустырь — будущее этого кладбища. В одну сторону он до горизонта был усыпан ржавыми консервными банками с примесью ветоши и бумаг, иногда взлетавших и садившихся, как своего рода птицы. Впрочем, точнее, свалка тянулась не до самого горизонта: по горизонту она была оторочена капустным полем, — но сизо-серый налет дня на всем и сокращенная моросью видимость совершенно почти уравнивали капусту с консервными банками; во всяком случае впечатление, что банки эти посеяны и произрастали в этом аду, как раз и выводилось из предполагаемого наличия капусты на самом горизонте. Тележки здесь, в конце тропы, столпились в очередь. Перед ними уже трое ждали могилы. «Это надолго», — согласился Путилин. Дождавшиеся, первые, голосили в последний раз над покойником, то ли от горя, то ли от облегчения. Могильщики трудились, как каторжные, их голые тела лоснились. Там и сям на кучах земли валялись свежеепустошенные бутылки. Могильщики были пьяны и работали с таким остервенением, будто собирались уже не уходить отсюда, а тут и согреть, на переднем крае. Особенно один могильщик все отвлекал взгляд Монахова. Юноша, пухлявый и трезвый, еврейский мальчик студенческого вида, он явно не справлялся с бригадным темпом, и его от природы красная еще детская щека уже

синела от явной сердечной недостаточности, в глазах его ныла непроживаемая тоска именно этой минуты, куда глубже национальной, тысячелетней. Что его сюда загнало, при явной его домашности и без тени какого бы то ни было падения? Идея какого и на что заработка?.. Куда?.. Он отставал в производительности и гладкой кожей ощущал презрение бригады, когда через несколько бросков вновь и вновь замирал отдышаться. Лопаты остальных мелькали безостановочно. «Возможно, он не вылезает из могилы, пока они курят и пьют, потому что к тому же не курит и не пьет...» — вяло подумал Монахов. На мальчика было больно и неприятно смотреть, но он притягивал взгляд. Здесь стоял последний знак равенства, над этой глиной. Могильщики, и мертвые, и провожающие, и бухой оркестр, игравший над телом отсыревший гимн, и капуста, и банки, и воздух, и вода — все это уже понимало друг друга, не имея никакого отношения к себе. И над всем этим расплюснутым, даже вогнутым пространством, как памятник, возвышался человек-люцифер-зверь-красавец-паханбог, и он-то и был, безусловно, Л а в р и к. Бог смерти Лаврик стоял на двух кучах земли, широко расставив ноги в офицерских сапогах, на не доступной ни для умерших, ни для смертных высоте, чуть подрагивая неподвижным коленом и неподвижной ухмылкой, чуть поглядывая на истово закопавшихся подчиненных и отсыревших, сбившихся, как бараны, подопечных. И впрямь, провожающие в конце пути, казалось, сами собирались сойти в могилы. Лаврик был высок, строен, элегантно, по-урочьи тощ, и он был без рук. Эта идея, что над землекопами властвует безрукий, прямо-таки пронзила мозг Монахова. Это — так! «А водку, интересно, ему подносят ко рту?» На плечи, чтобы скрыть увечье, легко, как-то даже грациозно, как бурка, был накинут ватник. И — лицо! Лицо его было красиво, с правильными, калеными тонкими чертами, а из-под легко сдвинутой на лоб кепки, насмешливо и безнадежно, смотрели поразительной синевы глаза. Так что, поймав их взгляд, Монахов даже на небо посмотрел: неужто прояснело? — небо было необратимо серо. Лаврик знал, что — все, что — конец, и это ни удручало, ни вдохновляло, ни забавляло его. Никогда не случалось Монахову видеть человека с такой печатью. Ни смирение, ни отчаяние, ни истерика, ни поза, ни скорбь — жизнь, прожитая в непрерывной власти и кончающаяся во власти, которую уже никто не свергнет. На нарах или еще где привык он к ней? В глазах его дотлевающего лица жил незамутненный ум, который все видел и все знал, никогда не размышляя. Он оценил внимание Монахова; легко соскочив, скорее слетев, как птица, оказался перед ним. Кивнул на гроб: «Ваш?» Монахов усвоил и кивнул на впереди стоящих: «Нельзя ли побыстрее?» — «Вы где хотите, чтобы ваша бабушка лежала?» — «Здесь не все ли равно?» — Монахов выразительно обвел взглядом окружившую их мерзость запустения. «Не все равно», — со знанием сказал царь тьмы. «Тогда где лучше», — сказал Монахов. Еле заметным движением своих роскошных, девичьих ресниц Лаврик указал на нагрудный карман. Монахов понял. И как только его рука пошла назад, оставив нечто над сердцем Лаврика, — так он, как ангел, пренебрегая гравитацией, взлетел на прямых ногах на те же две кучи — лишь чуть привзмахнул рукавами ватник — и там стал со сложенными крыльями. «Быстро! все на эту могилу! могилу бабушке — мигом!» — сказал он негромко и резко, и не было дистанции между приказом и исполнением. Только тот юноша грустно не поспел за приказом... И впрямь не

прошло минуты. «Прощайтесь»,— сказал Лаврик. И в этом справедливом и заслужившем себя мире Лаврик показался Монахову более на месте, чем тот поп... Открыли крышку; от адской тряски по глине бабушка сбилась на бок, отпущение грехов вывалилось из рук, но зато в них хорошо удержалась коробочка с отчей землей. Монахова даже передернуло: ему казалось, он отчетливо помнил, что в руки ей ее не клал. «Боже! — взвыл он.— Если ты здесь! Будьте все прокляты!» И это «все», вполне вмещавшее и его самого, было так отчетливо! Как мы хороним... ни земли, ни смерти... Так потрясла его эта коробочка... Будто бабка знала, что не будет более земли, как в этой коробочке!.. И ведь внесла, последнее, что сделала, внесла единственную живую щепоть на эту глину...

Застучал молоток. Гроб завели, подвели полотенца... И тут вдруг у Лаврика выросли руки — это было изумительно! Ловким ласковым движением выдернул он полотенце. И даже «Мир праху» сказал, и «Земля пухом», и «Спи спокойно».

Спокойная, здоровая, живая ненависть кипела в душе Монахова. Он видал зло. Он не ведал сомнения. Он понимал, что за свои грехи он вполне готов ответить. Но — вот этого — не простит никогда. Вчерашняя идиллия мертвецов, похожих на свои памятники, разъярила его. То, к чему мы идем, не было ни перспективой, ни угрозой. То, к чему мы пришли, было фактом.

Я кончился, а ты жива...

«Умерла...» — подумал он.



ЛЕВНИНА

(ШЕСТОЙ РАССКАЗ)

Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.

Из книги, найденной Алексеем.

Протоптал дорогу к Богу,
видно, трудную дорогу,
почти к самому порогу —
долгий путь.

Что-то — для конца маршрута,
здесь ступени слишком круты,
очертания их смутны —
лег передохнуть.

Отдыхался — вдоль ступеней
в ряд стоят родные тени,
пустоваты, не при теле —
и туннель насквозь.

Это что же за загадка:
слева дедка, справа бабка? —
бабка с дедкой врозь.

Это что же за загвоздка:
справа дядька, слева тетка... —
и зовут...

— Вы меня?.. родные, здрасте;
что за ужасы и страсти?
почему вы лишь отчасти?
что вы тут?

— Подымайся пободрее,
поднимайся побыстрее,
обнимайся поскорее —
успевай!

— Я сажу здесь не из лени:
слишком круты здесь ступени,
слишком дует из туннеля —
здесь не рай...

— Ничего, теперь не бойся,
ни о чем не беспокойся,
потихонечку устройся —
здесь приют.
— Что за странная погода!
Что у вас за время года?
как сурово! нет природы —
птицы не поют...

— В вечность перехода нету:
песен нет, все песни спеты;
нету тьмы и нету свету...

— Это ад?..
— Света нет, зато нет тьмы:
нет богатства, нет сумы;
нет свободы, нет тюрьмы...

— Виноват!
еще ноги мои целы,
еще руки мои белы,
еще жизнь не надоела!..—
взяли бы в расчет!

— Ты не слишком хочешь много?
ты искал дорогу к Богу?
ты нашел к Нему дорогу?
что тебе еще?
— Я искал дорогу к Богу,
лишь к порогу,
лишь в подмогу —
а не к Самому!
Я не в этом смысле к Богу,
а в том смысле, что дорогу...
не судите слишком строго.
мне не по уму...

— Как с живым с тобой нет сладу;
сила есть — ума не надо,—
здесь не рай, зато нет ада,
ада нет почти;
нету ада, нету рая —
не сухая, не сырая
здесь лишь яма долговая —
и плати!

— Ничего я здесь не должен!
я не лягу в это ложе!
я свой путь сейчас продолжу!..—
и — застыл...
Силы нет назад вернуться,
обернуться,
оглянуться,—
нету сил.

— Видно, все же подкосила
меня жизненная сила,
видно, духу не хватило —
меня ждут...
И не так круты ступени,
и не так прозрачны тени,
ноги будто опустели —
сами вверх идут.

Видно, впрямь дорога к Богу —
слишком длинная дорога,
слишком дорого и много...

Господи, прости!

Значит, время свое справил,

значит, я уже отчалил,

значит, я уже причалил...

Боже, пропусти!

Бог сказал: твои печали...

и сказал: все так кончали...

и сказал: все так вначале...

проходи.



Битов А. Г.

Б 66 Улетающий Монахов : Роман-пунктир / Рис.
Р. Габриадзе.— М. : Мол. гвардия, 1990.— 150 [2] с.,
ил.

ISBN 5-235-00944-4

Впервые издается отдельной книгой цикл известных уже читателю повестей А. Битова о любви, об испытании человека любовью, доработанный и завершённый автором

Б 4702010201—137 095—90
078(02)—90

ББК 84Р7

ИБ № 6537
Битов Андрей Георгиевич
УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ

Заведующий редакцией **В. Перегудов**
Редактор **С. Шевелев**
Оформление **А. Тетерина**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Е. Михалева**
Корректоры **Л. Четыркина, Т. Пескова**

Сдано в набор 30.08.89. Подписано в печать 30.03.90. Формат 60×108¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,4. Усл. кр.-отг. 23,2. Уч. изд. л. 11,0. Тираж 100 000 экз. Це-
на 1 р. 40 к. Заказ 2142.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полигра-
фического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
Адрес ИПО: 103030, Москва, Сушевская, 21

ISBN 5-235-00944-4

1 р. 40 к.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ